

Домой возврата нет

Автор:

[Томас Вулф](#)

Домой возврата нет

Томас Вулф

Зарубежная классика (АСТ)Тетралогия #4

«Домой возврата нет» – один из шедевров Томаса Вулфа, писателя, получившего известность сразу после публикации двух первых романов «Взгляни на дом свой, ангел» и «О времени и о реке».

Это история писателя Джорджа Уэббера, автобиографический роман которого имеет шумный национальный успех и превращает автора в литературную звезду... и самого ненавистного человека в его родном городке на Глубоком Юге. Слишком быстро горожане узнали себя в персонажах, слишком много скелетов посыпалось из шкафов...

Изгнанный и едва не убитый, Уэббер начинает скитаться по миру – от Нью-Йорка времен Великой депрессии сквозь бесприютный и равнодушный к эмигрантам Париж до Берлина, где уже поднял голову дракон нацизма...

Томас Вулф

Домой возврата нет

© Перевод. Н. Галь, наследники, 2022

© Перевод. Р. Облонская, наследники, 2022

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

* * *

Жизнь Томаса Вульфа (1900–1938) оборвалась рано и трагически, однако неординарный талант автора успел покорить наиболее взыскательных читателей и критиков. Томас Манн назвал его «одним из самых сильных голосов» американской прозы XX века. По словам Уильяма Фолкнера, в своих произведениях Вулф пытался уместить «всю историю человеческого сердца на головке булавки». С писателем сотрудничал знаменитый редактор Максвелл Перкинс, открывший миру Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Эрнеста Хемингуэя, а Рэй Бредбери сделал Вульфа главным героем своего рассказа «О скитаниях вечных и о Земле».

Книга первая

Возвращение на родину

1. Хмельной бродяга в седле

В тихий сумеречный час на исходе апреля, в лето от Рождества Христова 1929-е, Джордж Уэббер облокотился на подоконник и вобрал взглядом Нью-Йорк – все, что мог увидеть из окна, выходящего на задворки. В конце квартала высилась громада новой больницы, верхние этажи ее ступенчато сужались, взмывающие в небо стены розовели в лучах заката. К ближнему углу огромного здания и к дальнему, напротив, примыкали два крыла пониже, где жили сестры и санитарки. Кроме больницы, в квартале тесно лепились еще с полдюжины старых кирпичных домов; они устало прислонялись друг к другу, Джордж видел их с тылу.

Было удивительно тихо. Все городские шумы доносились сюда, приглушенные расстоянием, точно смутный гул, – непрерывный, неумолчный, он казался неотделимым от тишины. Вдруг в открытые окна с фасада ворвалось хриплое рычание, это заводили грузовик у склада через улицу. Мощный мотор разогревался, рев нарастал, и вот залязгало, заскрежетало, и Джордж всем телом ощутил, как задрожал старый дом: грузовик вырулил на улицу и с грохотом покатил прочь. Шум отдалялся, слабел, потом слился с общим смутным гулом, и снова все успокоилось.

Джордж все глядел, высунувшись из окна, неизъяснимая радость прихлынула к горлу, и он что-то закричал в окно больничного крыла девушкам, которые, по обыкновению, отглаживали свои две пары штанишек и тоненькие платишки.

Слабо, словно очень издалека, долетали к нему крики играющей на улицах детворы и негромкие голоса людей в домах. Он смотрел вниз, на прохладные косые тени – вечерний свет скользил по квадратикам дворов, и в каждом дворе открывалось что-то знакомое, очень и только свое: вот клочок земли, – какая-то миловидная женщина засадила его цветами, она выходила в брезентовых рукавицах, в соломенной широкополой шляпе и усердно трудилась по нескольку часов подряд; а вот крохотная зеленая лужайка, – здесь каждый вечер сосредоточенно поливает недавно посеянную траву лысый человек с красным квадратным лицом; в других дворах виднеется сарайчик, кукольный домик, мастерская, где иной деловой человек в часы досуга увлеченно что-то мастерит; или расставлены весело раскрашенный стол и два-три шезлонга под сенью большущего ярко-полосатого садового зонта – и хорошенькая девушка весь день сидит там и читает, на плечи наброшено пальто, под рукой – бокал вина.

Разлитый в воздухе покой, и закатный свет, и запах весны будто заморозили Джорджа, и ему казалось, он хорошо знает всех людей вокруг. Он любил старый дом на Двенадцатой улице – красные кирпичные стены, просторные комнаты с высокими потолками, темные деревянные панели и скрипучие полы, а колдовская эта минута словно одарила дом еще и каким-то печальным величием, оттого что долгих девяносто лет он укрывал в своих стенах столько человеческих жизней. Он и сам стал как живое существо.

Казалось, тут все живет и дышит – стены, комнаты, стулья, столы, даже влажное махровое полотенце, свисающее над ванной, даже брошенное на стул пальто и раскиданные по всей комнате рукописи, бумаги, книги.

Как хорошо снова очутиться здесь, вокруг все такое знакомое, и, однако, есть в этом что-то странное, неправдоподобное. С острым внезапным изумлением Джордж в сотый раз за последние недели напомнил себе: ведь он и вправду возвратился домой, он снова дома – в Америке, в каменном человеческом муравейнике на острове Манхэттен, он вернулся к родине и любви; и в радости был привкус вины, оттого что вспомнилось: года не прошло с тех пор, как он уехал на чужбину, в гнев и отчаянии бежал от всего, к чему теперь возвратился.

В горькой своей решимости он тогда, прошлой весной, больше всего хотел сбежать от женщины, которую любил. Эстер Джек была много старше его, мужняя жена и мать взрослой дочери. Но она полюбила Джорджа такой полной, такой безоглядной любовью, что под конец он стал чувствовать себя в западне. Из плена этой любви он и жаждал вырваться, да еще – бежать от постыдных воспоминаний о яростных ссорах с Эстер, от душевного смятения, чуть ли не безумия, которое все нарастало в нем оттого, что Эстер пыталась его удержать. И вот он расстался с нею и удрал в Европу. Он уехал, чтобы забыть эту женщину, – и убедился, что забыть не может; только о ней и думал ежечасно, непрестанно. Опять и опять вспоминал ее – румяную, веселую, неизменно добрую и великодушную, по-настоящему талантливую, вспоминал все часы, что они провели вместе, – и мучительно по ней тосковал.

Вот так, убегая от любви, которая все еще его преследовала, он заделался бродягой в чужих краях. Объездил Англию, Францию и Германию, столько перевидал нового, столько народу встречал – пересек полконтинента, ругался, распутничал, пил, скандалил... однажды в какой-то пивнушке ему в драке проломили голову, выбили несколько зубов и перешлиби нос. А потом он одиноко лежал на койке в мюнхенской больнице и смотрел в потолок – пока заживало разбитое лицо, оставалось только размышлять. Вот тут-то он наконец немножко набрался ума-разума. Прежнее безумие ушло, и впервые за много лет буря внутри утихла.

Ибо он постиг кое-какие истины, которые каждый должен открыть для себя сам, – и открыл их, как положено каждому человеку: через испытания и ошибки, через заблуждения и самообманы, через ложь и собственную несусветную дурость, потому что бывал слеп и неправ, глуп и себялюбив, полон порывов и надежд, безоглядно верил и отчаянно запутывался. Там, на больничной койке, он заново пересмотрел всю свою жизнь и по крупицам извлек из нее суровые

уроки опыта. И каждая постигнутая истина оказывалась такой простой и самоочевидной, что он только диву давался – как можно было этого не понимать! А все вместе они свивались в некую путеводную нить, что протянулась далеко назад, в его прошлое, и вперед, в будущее. И Джорджу думалось: пожалуй, можно стать истинным хозяином собственной судьбы, ведь теперь он всем нутром чувствует, к чему надо стремиться, но вот куда это чувство его заведет – как знать?

А чему же он научился? На взгляд философа, вероятно, немногому, однако же просто по-человечески это не так уж мало. Он жил, и каждый день, по сто раз на дню, в мелочах должен был что-то решать, повинаясь всему, что было в нем заложено наследственностью и окружением, ходом мысли и кипением чувств, а решив, пожинал, что посеял, и на этом понял: даром ничто не дается. И понял – наперекор своему телу, до того непокорному и чуждому равновесия, что он порою чувствовал себя каким-то выродком, он все равно брат и родня всем людям на свете. Понял, что нельзя объять необъятное и надо знать меру своим силам и примириться с этим. Оказалось, многое, чем он терзался в последние годы, он растравил в себе сам, и это были неизбежные муки роста. И, что самое главное для человека, который вырос так медленно, – он как будто научился наконец не быть рабом чувств.

Чаще всего он попадал в беду оттого, что действовал очертя голову. Что ж, хорошо, он станет осмотрительней. Вся штука в том, чтобы взнуздать ум и сердце – пусть будут заодно, а не тянут в разные стороны. Попробуем передать полноту власти рассудку и поглядим, что получится; тогда, если разум скажет: «Вот оно!» – ты и сердцем рванешься к той же цели.

Это уже касается и Эстер, ведь он вовсе не собирался к ней вернуться.

Разум подсказывал: между ними все кончено – и пусть, так лучше. Но едва он приехал в Нью-Йорк, сердце подсказало позвонить ей – и он позвонил. Они встретились, и, конечно, все началось сначала.

Итак, они снова вместе, а ведь он был уверен: что-то, а это не повторится. И, однако, он счастлив, что вернулся к ней. Непостижимо!

Казалось бы, если идешь наперекор рассудку, ты должен чувствовать себя несчастным. Но нет, ничуть не бывало! Вот потому-то, пока он раздумывал,

облокотясь на подоконник, а вокруг сгущались апрельские сумерки, его потихоньку грыз червячок совести, и он недоуменно спрашивал себя, насколько же у него мысли расходятся с делом.

Ему уже минуло двадцать восемь и хватало ума понять: человек далеко не всегда сознает, почему поступает так, а не иначе, и совсем не просто отбросить привычки и чувства, что складывались годами, ведь это не изношенная шляпа и не стоптанный башмак. Что ж, ему не первому приходится ломать голову над этой задачей! Перед таким же выбором оказывались порой и философы. И даже говорили по сему поводу разные мудрые слова.

«Глупая последовательность – пугало мелких душ», – сказал Эмерсон.

И великий Гёте примирился с суровой истиной, что путь человека к зрелости не прям, но извилист, и сравнил развитие и прогресс человечества с тем, как петляет, еле держась в седле, бродяга – хмельной всадник.

Быть может, не столь важно, что бродяга во хмелю не способен ехать прямо к цели, куда важней, что он все-таки оседлал коня и, пусть петляя и сбиваясь, все же куда-то едет.

Джордж Уэббер некоторое время тешился этой мыслью и, однако, довольный и успокоенный, все еще чувствовал себя немножко виноватым. Пожалуй, где-то в его рассуждениях кроется уязвимое место.

Он непоследователен, он вернулся к Эстер, – разумно это или глупо...

Неужели хмельной всадник должен вечно плутать и петлять?

Эстер проснулась мгновенно, внезапно, как птица. Лежала на спине и широко раскрытыми глазами смотрела в потолок. Мигом ощутила себя, свое тело, – она готова встретить новый день.

И тотчас подумала о Джордже. Они помирились, заново обрели свою любовь, и все для них стало радостно и ново. Подобрали и сложили осколки прежней жизни, – и она вновь стала полна и прекрасна, как в самую лучшую пору, до

отъезда Джорджа. Теперь он начисто избавился от безумия, которое чуть не погубило их обоих. Он и сейчас легко поддается настроениям, внезапной блажи, но и тени нет прежнего неистовства, когда на него накатывало и он яростно метался, крушил все кругом и в кровь разбивал кулаки о стену. Он стал спокойней, уверенней, куда лучше владеет собой и, похоже, каждым шагом и поступком старается показать, что любит ее, Эстер. Никогда еще она не была так счастлива. Как хорошо жить!

За окнами, на Парк-авеню, вновь появились прохожие, улицы становились все многолюдней. На столике у кровати часто-часто тикал будильник, нетерпеливо отсчитывал пульс времени, словно по-ребячьи спешил навстречу какой-то воображаемой радости, и где-то в доме размеренно, торжественно пробили часы. Утреннее солнце залило комнату, будто между делом высветило каждую мелочь, и в душе Эстер сказала себе: пора!

Нора принесла кофе и горячие булочки, и Эстер взялась за газету, просмотрела театральную хронику, список актеров, приглашенных играть в новой немецкой пьесе, которую готовит к осени Любительский театр, прочла, что «художником-оформителем спектакля приглашена мисс Эстер Джек». Прочла и рассмеялась: забавно, что ее называют мисс, и так ясно представилось, какой ужас выразится на его лице при виде этих строк (а какое у него было лицо, когда маленький портной решил, что она его жена!), и так приятно увидеть свое имя в газете: «...мисс Эстер Джек, которая своим искусством завоевала общее признание как один из самых выдающихся современных театральных художников».

Веселая, счастливая, довольная собой, она сунула газету в сумку вместе с кое-какими прежними вырезками и прихватила их, отправляясь на Двенадцатую улицу, где она каждый день навещала Джорджа. Дала ему газеты и уселась напротив, чтобы видеть его лицо, пока он читает. Она помнила все, что там писали о ее работе:

«...Работа тонкая, ищущая и ненавязчивая, в которой чувствуется особый, горький и едкий юмор...», «...заставляет автора этих строк на старости лет по-детски восхищаться уверенным мастерством и силой воображения, ничего подобного не дарил нам нынешний театральный сезон, столь богатый блестящими, но поверхностными постановками...»

«...Ее неприхотливые декорации, веселые, легкие, обладают всеми достоинствами, каких мы уже привыкли ждать от этой художницы, которая

беззаветно предана капризной и подчас неблагодарной госпоже сцене...»

«...Великолепное озорство, которое чувствуется в причудливых декорациях проказливо-насмешливого и – надо ли напоминать? надо ли извиняться за напоминание? – искусного мастера...»

Она еле удерживалась от смеха, – так презрительно кривились губы Джорджа, так ехидно передразнивал он рецензентов:

– «Проказливо-насмешливого»! Прелестно, черт подери! «На старости лет по-детски восхищаться», – видали, какой оригинал, сукин сын! «Подчас неблагодарная госпожа», – скажите пожалуйста!.. «и надо ли напоминать!» – ах-ах, мне дурно, душенька! Дайте мне чесноку!

Он швырнул газеты на пол и с напускной суровостью обернулся к Эстер, от уголков глаз разбежались смешливые морщинки.

– Ну-с, накормят меня сегодня? Или ты будешь упиваться этой мутью, а мне – помирать с голоду?

Эстер больше не могла сдерживаться и закатилась хохотом.

– Но это же не я! – задыхаясь, насилиу выговорила она. – Это не я писала! Я не виновата, что они так пишут! Жуть, правда?

– Ну да, и, может, тебе это противно? – сказал Джордж. – Ты все это смакуешь! Сидишь тут и облизываешься, наслаждаешься их славословиями и моими муками! Известно ли тебе, о женщина, что я не ел со вчерашнего дня? Накормят меня или нет? Может, ты вложишь свое искусное воображение в бифштекс?

– Вложу! – сказала Эстер. – Хочешь бифштекс?

– Может, ты заставишь меня на старости лет по-детски восхищаться отбивной под нежнейшим луковым соусом?

– Да, – сказала она, – о да!

Он подошел, обнял ее, заглянул ей в глаза любящими и жадными глазами.

- Может, ты приготовишь мне какую-нибудь тонкую, ищущую и ненавязчивую подливку - ты ведь на них такая мастерица?

- Да! Сделаю для тебя все, что хочешь!

- А почему?

То был обряд, который оба знали наизусть, не пропускали ни одного вопроса, ни ответа: каждому хотелось опять и опять слышать от другого эти слова!

- Потому что я тебя люблю. Потому что хочу кормить тебя и любить тебя.

- И это будет хорошо? - спрашивал Джордж.

- Так хорошо, что и сказать нельзя, - отвечала Эстер. - Будет хорошо, потому что я такая хорошая и красивая и все делаю прекрасно, ни одна женщина на свете для тебя лучше не сделает, и еще потому, что я тебя люблю всеми силами души и хочу, чтоб мы были - одно!

- И эту великую любовь ты вложишь в стряпню?

- В каждый лакомый кусочек! Ты утолишь свой голод как никогда. Это будет чудо из чудес, и отныне ты станешь лучше и богаче телом и душой. Ты запомнишь это на всю жизнь. Это будет восторг и упоение.

- Значит, это будет такая еда, какой еще никто на свете не пробовал, - сказал Джордж.

- Да, - отвечала она. - Конечно.

И это была правда. Никогда ничего подобного не было в мире, пока вновь не настал апрель.

Итак, они снова вместе. Но что-то между ними переменилось. Даже и внешне. Они уже не довольствовались общим скромным жилищем. Возвратясь в Нью-Йорк, Джордж с первого же дня наотрез отказался вновь поселиться на Уэверли-плейс, в прежнем убежище их любви, жизни и работы. Взамен он снял две просторные комнаты на Двенадцатой улице – они занимали весь второй этаж, и их можно было превратить в один огромный зал, стоило лишь открыть раздвижные двери. Тут была и крохотная – только-только повернуться – кухня. Все это отлично устраивало Джорджа: и места вдоволь, и никто не мешает. Эстер может приходить и уходить, когда захочет; они могут быть здесь вдвоем, и только вдвоем, когда пожелают; здесь они могут вволю упиваться любовью.

Но самое главное: это дом не общий, а его, Джорджа, и потому теперь их отношения строятся на иной основе. Отныне он не допустит, чтобы вся его жизнь перепуталась с любовью. У Эстер свой мир – театр, богатые друзья, а его это не касается, у него свой мир – литература, и тут надо справляться одному. Всему свое место и свой черед: любовь любовью, но он останется верным себе, хозяином своей жизни и своей души.

Примирился ли с этим Эстер? Согласится ли принять его любовь, но дать ему свободу жить и работать по-своему? Так должно быть, сказал он ей, и она ответила: да, она все понимает. Но сумеет ли она? Способна ли женщина по самой природе своей удовольствоваться тем, что может дать ей мужчина, и не посягать на то, чего он отдать не вправе? Уже сейчас иные мелкие предзнаменования заставляли его в этом сомневаться.

Однажды утром Эстер пришла и оживленно, весело стала пересказывать какую-то забавную уличную сценку... и вдруг умолкла на полуслове, по лицу ее прошла тень, она поглядела с тревогой и неожиданно спросила:

– Ты ведь любишь меня, Джордж?

– Да, – сказал он, – конечно. Ты же знаешь.

– Ты никогда больше меня не бросишь? – На миг у нее перехватило дыхание. – Будешь вечно меня любить?

Джорджа изумила и эта внезапная смена настроений, и самый вопрос: вот нелепость, как будто он или кто угодно другой по совести может поручиться за свои чувства, за верность навеки! И он расхохотался.

Эстер нетерпеливо махнула рукой.

– Не смейся, Джордж. Мне надо знать. Скажи. Ты будешь вечно меня любить?

Она спрашивала так серьезно, но что же тут ответишь? Джорджа взяла досада, он встал из-за стола, минуту смотрел на Эстер, будто не видя, и начал ходить из угла в угол. Раза два приостановился, оборачивался к ней, но было не так-то легко выговорить нужные слова, и он опять принимался беспокойно шагать по комнате.

Эстер зорко следила за ним, поначалу она смотрела и весело, и сердито, а потом в глазах разгорелась тревога.

«Ну, что я такого сделала? – думалось ей. – Господи, что за человек!

Никогда не знаешь, чего от него ждать. Задаешь самый простой вопрос – и вот, не угодно ли, как он себя ведет! Правда, прежде он еще и не то вытворял. Бывало, мигом взорвется, ругает меня на чем свет стоит. А вот сейчас что-то в нем бурлит, а о чем он думает, понять невозможно. Надо же, мечется, как зверь в клетке! Этакий обезьян с бурей страстей в груди!»

А Джордж в минуты волнения и правда походил на обезьяну. Мощный торс, могучие широкие плечи, на ходу слегка сутулитесь, длинные руки свисают чуть не до колен, свободно болтаются крупные кисти, а пальцы, на концах словно сплюснутые, подвернуты внутрь, – ни дать ни взять звериная лапа. Голова, прочно сидящая на короткой шее, немного выставлена вперед, и весь он словно пригнулся: то ли чует опасность, то ли готовится к прыжку. Он даже кажется меньше ростом, на самом деле он немножко выше среднего – метр семьдесят три или семьдесят пять, однако ноги не совсем соответствуют такому мощному торсу. Да еще и черты лица не крупные – нос как бы приплюснут, глубоко сидящие глаза глядят из-под густых, нависших бровей, и лоб довольно низкий, от бровей до волос не так уж далеко. А когда он взволнован или чем-то увлечен, он как-то особенно сосредоточенно смотрит исподлобья, и при том, что голова всегда выставлена немного вперед, а все тело наклонено, в такие минуты еще

сильней его сходство с шимпанзе или орангутаном. Не удивительно, что кое-кто из друзей зовет его «Обезьян».

Минуту-другую Эстер не сводила с него глаз, огорченная и обиженная тем, что не получила ответа. Джордж остановился у окна и смотрел вниз, на улицу, Эстер подошла и тихонько взяла его под руку. Она видела, как вздулась жилка у него на виске, и понимала, что говорить сейчас не надо.

Из соседнего дома (там помещалось отделение профсоюза портных) выходили маленькие щуплые евреи и останавливались посреди улицы. Бледные лица, невымытые волосы, одежда в пятнах, но сколько живости! Кричат, машут руками, все сильней горячатся, легонько похлопывают друг друга по щекам, гортанно приговаривая: «Нет! Нет! Нет!» Разъярясь, но все еще с улыбкой (а видно, руки так и чешутся) закатывают друг другу оплеухи покрепче. И, наконец, уже вопят в полный голос и лупят почем зря. Другие кричат и ругаются, иные смеются, некоторые угрюмо стоят поодаль и чем-то молча терзаются каждый сам по себе.

А потом налетела полиция – молодые, крепкие ирландцы. Что-то в них гнусное, что-то от наемных убийц. Зверские, тупые, наглые морды. Лениво движутся тяжелые челюсти: даже пробиваясь через толпу, расталкивая и распихивая всех направо и налево, эти молодцы не перестают жевать резинку.

– А ну, разойдись! – повторяют они. – Разойдись! Давай, давай! Пошевеливайся!

Мимо с ревом проносятся автомобили, идут прохожие. Мелькают лица, которых Джордж и Эстер никогда прежде не встречали – и, однако, видели сотни раз, всюду и везде: всегда разные, лица эти никогда не меняются, они возникают в таинственных животворных родниках бытия, несчетные, бесконечно разнообразные, вечно движутся, нескончаемо и неустанно повторяются. Так, опять и опять проходят по улицам жизни три подружки. У одной лицо жестокое и чувственное, глаза скрыты стеклами очков, злой, грубый рот. У другой худощавая крысиная мордочка, а нос непомерно велик. У третьей лицо пухлое, расплывчатое, на жирных накрашенных губах, в маслянистых ноздрях – глумливая ухмылка. И когда они смеются, в смехе не слышно ни радости, ни веселья, – визгливый, пронзительный, неестественный, он режет слух и только требует, чтобы все, все, все их заметили.

На улицах играют дети. Мрачные, решительные, необузданные, они в точности подражают речи и грубым повадкам старших. Вот они кидаются в драку, и слабейший летит на мостовую. Полицейские погнали прочь шумную кучку портняжек, их уже нет. Небо синее, молодое, яркое, нигде ни облачка; на деревьях набухают почки; и солнечный свет простодушно, бесстрашно приходит на эту улицу, ко всем, кто здесь есть.

Эстер покосилась на Джорджа, – он смотрел в окно, и лицо его все сильнее искажалось. Он хотел бы сказать ей; все мы дикари и глупцы, необузданные, сбитые с толку; мы полны страхов и смятения, слепые и невежественные, мы проходим по живой, прекрасной земле, вдыхаем напоенный молодостью живительный воздух, нас омывает свет утра, а мы ничего этого не видим и не понимаем, потому что в душе мы убийцы.

Но ничего такого он не сказал. Устало отвернулся от окна.

– Вот она, вечность, – сказал он. – Вот она, твоя вечность.

2. Первая улыбка славы

Несмотря на привкус вины, который Джордж нередко ощущал в самые радостные минуты, никогда еще он не был так счастлив. Да, так, в этом нет сомнений. И он этим упивался. Прежнее безумие прошло бесследно, и он подолгу ликовал, восторженно веря (отнюдь не впервые, но никогда еще уверенность эта не была так сильна), что наконец-то он и вправду господин и повелитель своей судьбы. Еще в раннем детстве, когда он сиротой жил у своих родичей Джойнеров в Либия-хилле, он мечтал, что когда-нибудь попадет в Нью-Йорк и найдет там любовь, славу, богатство. И вот уже несколько лет, как он называет Нью-Йорк своим домом, любовь он тоже обрел, а теперь, конечно же, пришла пора богатства и славы, до них уже рукой подать.

Человек всегда счастлив, когда уверенно ждет, что вот-вот сбудутся самые смелые его мечты, и потому Джордж был счастлив. И как бывает почти со всеми нами, когда в жизни у нас все хорошо, он воображал, будто это его собственная заслуга. Нет, не удача, не случай, не слепой ход событий принесли ему эту новую бодрость духа: уверенность в себе и ощущение победы – награда за его

собственные необычайные достоинства, заслуженная награда, и только! Между тем решающую роль в его преображении сыграл именно счастливый случай. Произошло нечто невероятное.

В первые же дни, как он возвратился в Нью-Йорк, ему позвонила донельзя взволнованная Лулу Скаддер, литературный агент. Крупнейшее издательство «Джеймс Родни и Ко» заинтересовалось его, Джорджа Уэббера, рукописью, и знаменитый издатель Лисхол Эдвардс желает побеседовать с автором. Конечно, в таких случаях ничего нельзя знать заранее, но всегда лучше ковать железо, пока горячо. Не может ли Джордж прямо сейчас, не откладывая, повидаться с Эдвардсом?

Глупо радоваться, твердил себе по дороге Джордж, скорей всего, ничего из этого не выйдет. Ведь вот в одном издательстве его книгу уже отвергли, заявили, что никакой это не роман! Издатель даже написал, – слова его, точно каленым железом выжженные, запечатлелись в мозгу Джорджа: «Роман – форма явно чуждая вашему таланту». А ведь речь идет о той же самой рукописи. Он не изменил ни единой строчки, не выкинул ни слова, хотя и Эстер, и мисс Скаддер намекали, что рукопись чересчур велика, ни одно издательство за нее не возьмется. Джордж упрямо отказывался что-либо менять: пускай печатают как есть или вовсе не печатают. И он уехал в Европу, совершенно уверенный, что, как бы ни старалась мисс Скаддер пристроить его детище, издателя ей не найти.

За границей ему тошно было даже думать о рукописи: столько труда в нее вложено, столько бессонных ночей, сколько с ней связано надежд, что поддерживали его все эти годы... И он старался не думать – ясно же, никуда его пачкотня не годится, и сам он никуда не годен, а если много о себе возомнил и жаждал славы, так это пустые мечты, заносчивость бездарного писаки. Видно, он ничуть не лучше прочих пустобрехов-учителишек из Школы прикладного искусства, откуда он сбежал и куда вернется, когда кончится его отпуск, и снова станет учить студентов выражать свои мысли на бумаге.

Почти все тамошние преподаватели вечно толкуют, будто пишут или собираются написать неслыханно прекрасные книги, – потому что, как и он сам, отчаянно ищут выхода, ведь тоска берет изо дня в день учить тупиц, читать их сочинения, ставить отметки, понапрасну пытаюсь высечь хоть искорку в беспросветно тупых умах. Джордж провел в Европе почти девять месяцев, от мисс Скаддер за все время не было никаких вестей, и он уже не сомневался: сбылись его самые

мрачные предчувствия.

И вот, оказывается, издательство Родни им заинтересовалось. Что и говорить, они не спешили. И как это понять – «заинтересовалось»? Скорей всего, ему скажут, что в рукописи заметны признаки дарования и, если его тщательно пестовать и развивать, пожалуй, когда-нибудь оно и принесет кое-какие плоды – книжку, достойную внимания публики. По слухам, есть такие осторожные издатели, годами водят начинающего за нос, отвергают книгу за книгой, и притом понемножку подбадривают, чтоб не вовсе отчаялся: мы, мол, в тебя верим, у тебя все впереди, надо только «найти себя». Ну нет, Джорджа на этом не проведешь! Он не выдаст разочарования, даже глазом не моргнет и, уж конечно, ничего им не пообещает!

Если полицейский на перекрестке и заметил в то утро перед издательством «Джеймс Родни и Ко» странного молодого человека, то где ему было догадаться, как решительно, сжав кулаки, этот молодой человек собирался с духом для предстоящего разговора. Если полицейский его и заметил, то, скорей всего, присмотрелся недоверчиво: не вмешаться ли, может, тут пахнет уголовщиной? Или вызвать карету скорой помощи, а куда заговорить ему зубы, и пускай малого свезут куда надо и проверят, в порядке ли у него винтики.

Молодой человек шел стремительным, неровным шагом, мрачный, насупленный, угрюмо сжав губы; пересек улицу, ступил на тротуар у дверей издательства и вдруг будто споткнулся – остановился, растерянно огляделся и не сразу заставил себя снова тронуться с места. Но теперь он двигался неуверенно, казалось, ноги его не слушаются. Рванулся было вперед, замер, опять рванулся – и у самой двери вновь замер, застыл в нерешимости. Минуту стоял перед входом, судорожно сжимая и разжимая кулаки, потом быстро, подозрительно огляделся, точно боялся, не смотрит ли кто. Наконец решительно встряхнулся, сунул руки глубоко в карманы, не спеша повернулся и прошел мимо.

Теперь он шел не торопясь, угрюмей прежнего сжал губы и так напряженно вытянул шею, словно высмотрел себе цель далеко впереди и решил двигаться к ней строго по прямой. И, однако, проходя мимо дверей издательства, мимо пестреющих книгами витрин по обе стороны входа, он косил на них краешком глаза, точно шпион, которому непременно надо углядеть, что делается в этом доме, но только незаметно для прохожих. Он дошел до конца квартала и зашагал обратно и опять, проходя мимо этого дома, не повернул головы на

неподвижной, точно деревянной, шее, а лишь косился украдкой. Добрых двадцать минут кряду он повторял тот же странный маневр: поравняется с дверями, замешкается, слегка повернется, словно хочет войти, и опять порывисто шагает дальше.

Наконец, чуть не на пятидесятый раз, он ускорил шаг, подошел и взялся за ручку двери, но тотчас, будто его ударило током, отдернул руку, попятился, стал на краю тротуара и, закинув голову, уставился на здание издательства. Несколько минут он так и стоял – переминался с ноги на ногу, всматривался в верхние окна, будто ждал какого-то знака. И вдруг выпятил челюсть, стиснул зубы так, что на скулах заиграли желваки, опрометью бросился к двери, с маху распахнул ее и скрылся в доме.

Часом позже он вышел оттуда, – и если тот полицейский еще не сменился с поста, уж наверно поведение молодого человека вновь изумило его и озадачило. Станный малый шагал свесив руки, медленной, деревянной походкой, вид у него был обалделый, в руке зажат смятый листок желтой бумаги. Он вышел из здания издательства, точно лунатик, медленно, бездумно – ни дать ни взять заводная кукла, – повернулся и все с тем же ошалелым, блаженным выражением лица направился к жилым кварталам и скрылся в толпе.

Уже вечерело и к востоку, быстро удлиняясь, тянулись косые тени, когда Джордж Уэббер наконец очнулся где-то в дебрях Бронкса. Он так и не понял, каким ветром его сюда занесло. Помнил только, что вдруг до смерти захотелось есть, и тогда он остановился, огляделся по сторонам и сообразил, где он. Тупо ошеломленное лицо его вспыхнуло изумлением, недоверием, рот растянулся в улыбке до ушей. Он медленно расправил стиснутый в кулаке хрустящий желтый листок и начал его внимательно изучать.

Это был чек на пятьсот долларов. Книгу приняли, и он получил аванс.

Да, никогда еще за всю свою жизнь он не был так счастлив. Наконец-то к нему постучалась слава и льстиво и нежно ему заулыбалась, и он жил в каком-то чудесном забытии. Следующие недели и месяцы наполнены были радостным предвкушением. Книга выйдет только осенью, но до тех пор – столько работы! Лисхол Эдвардс предложил кое-что убрать, кое-что изменить, Джордж сперва заспорил, а потом, к собственному удивлению, согласился, что так будет лучше,

и принялся исправлять рукопись, как советовал Эдвардс.

Свой роман он назвал «Домой, в наши горы» и вложил в него все, что знал о своем родном городке в Старой Кэтоубе и о тамошних жителях. Каждая строчка была выжимкой из того, что он, Джордж, сам видел и пережил. И теперь, когда уже ясно было, что книга выйдет, его порой бросало в дрожь, ведь еще несколько месяцев – и всему свету станет известно, что он там написал. Ужасно думать, что кого-то заденешь, обидишь, как же ему это раньше в голову не приходило! А теперь уже ничего не поделаешь, и становится не по себе. Конечно, его книга – вымысел, литература, но, как и положено настоящей литературе, она вылеплена из живой жизни. Какие-то люди, пожалуй, узнают себя и возмутятся, – и тогда как быть? Неужто прятаться, расхаживать в темных очках и с фальшивой бородой? Он утешал себя: может быть, портреты его героев не так уж верны (хотя в иные минуты приятно было думать по-другому), может быть, никто ничего не заметит.

Журнал «Родни мэгезин» тоже обратил внимание на молодого писателя – в ближайшем номере там поместят его рассказ, главу из книги. Узнав об этом, Джордж совсем возликовал. Ему не терпелось увидеть свое имя в печати, и в эту пору счастливого ожидания он чувствовал себя каким-то вселенским Дон-Жуаном: поистине, он любил всех и каждого – своих коллег по Школе и нудных учеников и учениц, продавщиц и лавочников, и даже безликие, безымянные толпы на улицах. Издательство Родни, разумеется, величайшее и прекраснейшее в мире, а Лисхол Эдвардс – величайший редактор и прекраснейший человек, другого такого свет не видал. Джорджу он сразу пришелся по душе, и теперь он называл Эдвардса просто Лисом, точно старого закадычного друга. Он знал, Лис в него верит – и эта вера и доверие редактора, обретенные в тот самый час, когда он утратил последнюю надежду, возвратили Джорджу уважение к себе и придали сил для новой работы.

В нем уже зрел новый замысел, возникали очертания нового романа. Скоро надо будет выплеснуть все это на бумагу. Страшно подумать, что придется сесть за работу всерьез, ведь уже знаешь, какая это пытка. Становишься как одержимый, точно бес в тебя вселяется – сторонняя неистовая сила, ее не побороть. Накатит на тебя – и выкуриваешь шестьдесят сигарет в сутки, выпиваешь двадцать чашек кофе, ешь где попало и как попало, в любое время дня и ночи, когда вдруг спохватишься, что голоден как волк. Маешься бессонницей, миля за милей меришь шагами улицы, чтобы выбиться из сил (иначе и вовсе не уснуть), а потом мучают кошмары, и наутро ты издерган и весь как выжатый лимон.

И он сказал Лису:

– Наверно, есть лучшие способы писать книги, но, честное слово, я иначе не умею, придется уж вам с этим мириться.

Когда вышел номер «Родни мэгезин» с рассказом Джорджа, автор всерьез ждал: вот-вот содрогнется земля, посыплется падучие звезды, замрет движение на улицах и разразится всеобщая забастовка. Но ничего такого не случилось. Кое-кто из друзей в разговоре с Джорджем упомянул о его рассказе – и только. Он было приуныл, а потом здраво рассудил, что людям ведь на так легко оценить молодого писателя по небольшому рассказу. Вот выйдет книга, тогда все увидят, кто он такой и на что способен. Тогда уж будет по-другому. Ну ничего, он еще немножко потерпит, а уж тогда к нему наверняка придет долгожданная слава.

Потом первое волнение улеглось, Джордж немного по привычке чувствовать себя писателем, чья книга и правда скоро выйдет в свет; тогда лишь он стал осматриваться в неведомом прежде мире, где делаются книги, и узнавать людей, которые этот мир населяют, – и лишь тогда начал понимать и по достоинству ценить Лиса Эдвардса. Впервые он понял, что за человек его редактор, благодаря Отто Хаусеру: столь же глубоко, неколебимо честный, Хаусер во всем остальном был полной противоположностью Лиса.

Хаусер служил в фирме Родни рецензентом – и лучшего издательского рецензента, пожалуй, не сыскать было во всей Америке. Он мог бы сам стать отличным, редкостным издательским редактором, если бы в нем было сильно то, что движет большим редактором: честолюбие, восторженная горячность, дерзкая и упрямая решимость, неутомимая жажда искать и находить все лучшее. Но Хаусер преспокойно довольствовался тем, что изо дня в день читал нелепые сочинения нелепых писак на самые нелепые темы (к примеру, «Плавание брассом», «Альпийское садоводство для всех», «Жизнь и развлечения Лидии Пинкем», «Новый век изобилия») – хлам, среди которого редко-редко мелькал огонек страсти, искра таланта, проблеск подлинной правды.

Отто Хаусер жил в крохотной квартирке неподалеку от Первой авеню и однажды вечером пригласил Джорджа зайти. Джордж зашел к нему, и они проговорили весь вечер. А потом Джордж приходил еще и еще; Отто нравился ему и притом озадачивал, уж очень противоречиво было все в этом человеке, и особенно удивляла какая-то странная замкнутость, холодноватая отчужденность, она так

не вязалась с присущей Хаусеру доброжелательностью и прямоотой.

Свое хозяйство Отто вел сам. Когда-то он пытался нанимать проходящих уборщиц, но потом от них отказался. На его вкус, эти женщины были недостаточно аккуратны и чистоплотны, да еще вечно все переставят, передвинут как попало, а он – великий аккуратист, у него каждая мелочь на своем месте. Беспорядка он не выносил. Книг у него дома было немного, каких-нибудь две полки – главным образом последние издания фирмы Родни, да кое-что ему присылали другие издатели. Обычно, едва дочитав эти книги, он их раздавал, ибо не выносил беспорядка, а от книг всегда беспорядок и теснота. Подчас он с недоумением спрашивал себя – а может, он и книги не выносит? Во всяком случае, пускай в доме их будет поменьше, уже один их вид его раздражает...

Для Джорджа Хаусер оказался любопытнейшей загадкой. Человек на редкость одаренный, од, однако, едва ли не начисто лишен был тех качеств, которые нужны, чтобы «преуспеть» в нашем мире. В сущности, он вовсе и не хотел «преуспевать». Он чурался всякой возможности продвинуться хоть на шаг дальше того, чего уже достиг. Он хотел быть рецензентом и только, не более. В издательстве «Джеймс Родни и Ко» он делал то, что ему поручили.

Самым добросовестным образом выполнял свои обязанности. Когда спрашивали, что он думает о рукописи, он честно и непредвзято, с неизменным спокойствием высказывал свое мнение, судил безошибочно ясно, с чисто немецкой обстоятельностью. И дальше этого идти не желал.

Когда какой-нибудь редактор (в издательстве Родни их было несколько, не считая Лисхола Эдвардса) спрашивал у Хаусера его мнение, обычно происходил примерно такой разговор:

– Вы читали эту рукопись?

– Да, читал, – говорил Отто Хаусер.

– И что вы о ней думаете?

– По-моему, в ней нет ничего хорошего.

- Значит, вы не советуете ее печатать?

- Да, по-моему, она того не стоит.

Или:

- Прочли вы эту рукопись?

- Да, прочел, - отвечает Хаусер.

- Ну и как она, по-вашему? (Черт его дери, не может сам сказать, что думает, вечно надо из него каждое слово клещами тянуть!)

- По-моему, это гениально.

- Вы думаете?! - недоверчиво восклицает редактор.

- Да, я так думаю, на мой взгляд - это бесспорно.

- Но послушайте, Хаусер... - Редактор взволнован. - Если вы не ошибаетесь, так этот малый... этот автор... он же совсем еще мальчишка, никто про него и не слышал... он родом откуда-то с запада... из Небраски, что ли, или из Айовы... похоже, до сих пор так и сидел там, в глуши... если вы не ошибаетесь, значит, это мы его открыли!

- Да, наверно, вы открыли. Его книга гениальна.

- Но... (Черт подери, ну что за человек! Сделал такое открытие... сообщает такую поразительную новость... и хоть бы загорелся, обрадовался! А ему все равно, будто речь идет про кочан капусты!) Но... в чем же дело? Вы... по-вашему, в его рукописи есть какой-то изъян?

- Нет, по-моему, в ней нет никаких изъянов. По-моему, это великолепно написано.

- Но... (О, господи, этот Хаусер и правда псих ненормальный!) Но что же... вы хотите сказать... наверно, в таком виде, как сейчас, она для печати непригодна?

- Нет, на мой взгляд, она в высшей степени подходит для печатания.

- Но она чересчур многословна, так?

- Многословна - да, это верно.

- Так я и думал, - глубокомысленно заявляет редактор. - Новичок, опыта никакого, это же сразу видно. Он и сам не понимает, как пишет, без конца повторяется, все у него выходит ребячливо, несдержанно, все через край, никакого чувства меры. У нас есть десятки авторов, которые смыслят в писательстве куда больше.

- Да, наверно, - соглашается Хаусер. - И, однако, он гений, а они - нет. То, что он написал, гениально, а то, что пишут они, - нет.

- Значит, вы полагаете, нам следует его напечатать?

- Полагаю, что так.

- Но... (А может быть, вот в чем загвоздка... вот он о чем умалчивает!) Но больше ему сказать нечего? Думаете, он уже исписался? Все, что было за душой, выложил в одной книге? На вторую его уже не хватит?

- Ничего такого я не думаю. Ручаться, впрочем, не могу. Его могут и убить, это бывает...

(Вечно он каркает, ворона!)

- ...Но, судя по этой книге, я бы сказал, можно не бояться, что он выдохнется. Его хватит еще на полсотни книг.

- Но... (О, господи! Где же тут подвох?) Но тогда, вы считаете, для такой книги у нас, в Америке, еще не пришло время?

- Нет, я так не считаю. По-моему, для нее самое время.

- Почему?

- Потому что она написана. Если книга написана, значит, для нее настало время.

- А некоторые наши лучшие критики говорят, еще не время.

- Знаю, что они говорят. Они ошибаются. Вот для них еще не время, только и всего.

- То есть как?

- Очень просто, они ведут счет по времени критики. А книга создается по времени художника. Разное время, разный отсчет.

- По-вашему, критики отстают от времени?

- Да. Отстают от художника.

- Тогда они, пожалуй, не согласятся с вами, что это гениальная книга. Как вы думаете?

- Не знаю. Может быть, и не согласятся. Но это не имеет значения.

- То есть как это – не имеет значения?!

- Да так. Книга хороша, и уничтожить ее нельзя. Стало быть, не важно, что о ней скажут.

- Значит... черт возьми, Хаусер! Если вы не ошиблись, значит, мы совершили замечательное открытие!

- Да, это так. Вы его совершили.

- Но... но... неужели вам больше нечего сказать?!

– Да, нечего. А что тут еще говорить?

Редактор ошеломлен.

– Ничего... только мне казалось, вы-то должны бы радоваться! – И, вконец обескураженный, сдается: – А, ладно! Ладно, Хаусер! Большое вам спасибо!

В издательстве этого не понимали. Просто не могли понять. И наконец отступились – все, кроме Лиса Эдвардса, Лис никогда не отступал, если хотел что-либо понять. Лис по-прежнему, проходя мимо, заглядывал в кабинет Хаусера – крохотную тесную каморку. Сдвинет старую серую шляпу на затылок (Лис всегда работал в шляпе), наклонится, вытянет шею и с тревожным недоумением в светлых зеленоватых глазах уставится на Хаусера, будто перед ним неведомое сказочное чудовище со дна морского. Потом повернется и, ухватясь обеими руками за лацканы пиджака, шагает своей дорогой, и во взгляде у него безмерное изумление.

Лис никак не мог понять, в чем тут секрет. Да и сам Хаусер ничего не мог бы ответить и объяснить.

Лишь когда Джордж Уэббер познакомился с обоими поближе, он стал постигать эту загадку. Лисхол Эдвардс и Отто Хаусер... Только узнав их обоих, только видя, как работают они в одном и том же издательстве, можно было их обоих понять, – даже лучше, наверно, чем каждый из них понимал самого себя. Джорджу казалось, в каждом из них уже потому, что он таков, как есть, открываются тайные истоки души, то, в чем оба они так удивительно схожи – и такие невообразимо разные.

Должно быть, когда-то давно и в Отто Хаусере, в самой глубине его невозмутимого духа, горело ровное и жаркое пламя. Но тогда он еще не знал, что значит быть выдающимся редактором. Теперь он видел это своими глазами – и решил, что это не для него. Уже десять лет смотрел он, как работает Лис Эдвардс, и прекрасно знал, что для этого нужно: живое негаснущее пламя среди мрака, спокойное, неустанное и непрестанное напряжение, упрямая воля – довести до конца то, ради чего горит это пламя и что сознает дух; и какая это невысказанная мука, бьешься изо всех сил, чтобы достичь цели, как-то одолеть всеобщее противодействие, слепое и тупое воинствующее невежество, враждебность, предрассудки, нетерпимость... а против тебя все дураки, какие

только есть на свете: и выжившие из ума дряхлые старцы, и жеманные, сюсюкающие дамочки, и ханжи, лицемеры, филистеры, и злобные тупые завистники, и – что хуже всего – просто-напросто обыкновеннейшие дураки, непроходимо, безнадежно безмозглые и тупые по самой природе своей!

О, так сгорать, так безоглядно тратить себя, испепелять в огне этой неугасимой страсти! И чего ради? Ради чего? А главное, зачем? Чтобы никому не известный юнец откуда-нибудь из Теннесси, какой-нибудь сын захудалого фермера из Джорджии или отпрыск лекаря из захолустьев Северной Дакоты, по меркам дураков существо без роду без племени, без титулов и званий (а стало быть, бесправное и недостойное), отмеченный печатью гения, мучительно бился, сиюсь излить высокую страсть одинокого духа, одолеть немоту, хоть отчасти высказать то, что замкнуто в его душе и в бессловесных душах его братьев, и в слепой необъятности нашей суровой земли найти путь рвущемуся на волю роднику творчества, и, может быть, в бескрайней пустыне жизни оставить хоть какой-то след, воздвигнуть хоть какой-то приют... и все это – перед лицом всесветного дурацкого ханжества, дурацкого невежества, дурацкой трусости, дурацких заскоков, дурацкого зубоскальства, дурацкой манерности и дурацкой ненависти ко всякому, кто не развращен и не забит... и дураки либо погасят эту жаркую, пылающую страсть насмешками, презрением, непониманием, либо развратят эту могучую волю, осквернят ее дурацким успехом – признанием дураков. И ради этого должны гореть и терзаться такие, как Лис, – чтобы поддерживать нестерпимый огонь, сжигающий душу какого-нибудь вдохновенного мученика-мальчишки, покуда мир дураков не возьмет этот пламень на свое попечение и не предаст его!

Отто Хаусер на все это насмотрелся.

И, наконец, в чем награда такого Лиса? Опять и опять в одиночку, наперекор безнадежности, одерживать победу за победой – и видеть, как те самые дураки, которые не желали победу признавать, ее присваивают, и вновь погружаться в поиски, и молчать, и ждать, а дураки тем временем жадно прикармливают золото, отчеканенное чужим одиноким духом, чванятся, как собственным открытием, плодом чужих долгих и трудных поисков, похваляются своей прозорливостью, приписав себе свершение чужих пророчеств. Нет, в конце концов сердце не выдержит, разорвется – и сердце Лиса, и сердце гения, одинокого юноши: маленькое, хрупкое сердце человеческое неминуемо ослабеет, перестанет биться; но сердце глупости будет биться вечно.

Нет, Отто Хаусер твердо решил, это не для него. Он не станет горячиться ни по какому поводу. Он старается видеть истину – и этого довольно.

Таков был Отто Хаусер, когда Джордж с ним познакомился. В зеркале дружеской откровенности душа его отражалась вся как есть, без прикрас, в такой спокойной прямоте и цельности, что оставалось только диву даваться; но в том же зеркале, хотя сам Отто не всегда это замечал, раскрывался еще один куда более сильный и яркий облик – облик Лиса Эдвардса.

Джордж понимал, как ему посчастливилось, что его редактором оказался Лис. Он уважал этого человека, восхищался им, а потом и полюбил – и понял, что Лис стал для него не только редактором и другом. Понемногу Джорджу стало казаться, что в Лисе он вновь обрел давно потерянного отца, которого ему всегда так не хватало. И Лис в самом деле стал для него вторым отцом – отцом духовным.

3. Крохотный джентльмен из Японии

В старом доме, где жил в тот год Джордж, первый этаж как раз под ним занимал мистер Катамото, и вскоре между ними завязалось тесное знакомство.

Можно сказать, что дружба их началась с недоумения и перешла в прочное доверие и понимание.

Не то чтобы мистер Катамото склонен был прощать Джорджу его промахи.

Нет, он всякий раз (а впрочем, отнюдь не навязчиво) пояснял, что Джордж вновь совершил ложный шаг (слово это здесь как нельзя более к месту), – но при этом был уж так бесконечно терпелив, так неизменно учтив и добродушен, так неколебимо верил, что Джордж исправится... просто невозможно было на него рассердиться и не постараться вести себя лучше. По счастью, природа щедро оделила Катамото ребячески наивным чувством юмора. Как многие японцы, он был крохотный, едва пяти футов ростом, худощавый, хотя и на редкость жилистый, – и мощный торс Джорджа, широкие плечи, большие ноги и чуть не до колен свисающие руки с самого начала возбуждали в Катамото неодолимую

смешливость. В первый же раз, как они случайно повстречались в коридоре, Катамото, еще издали завидев Джорджа, не удержался и захихикал; а когда они поравнялись, сверкнул широчайшей, ослепительно белозубой улыбкой, лукаво погрозил пальцем и сказал:

- Топ-топ! Топ-топ!

Сценка эта повторялась несколько дней подряд, каждый раз, как им случалось столкнуться в коридоре. Джордж терялся в догадках. Что означают эти слова? И почему Катамото не может их выговорить без смеха, что его так веселит? А ведь всякий раз, как Джордж, услышав это «топ-топ», отвечает недоуменным, вопрошающим взглядом, Катамото заходится хохотом, прямо надрывается, по-детски топает ногами в крохотных башмаках и сквозь смех взвизгивает:

- Да... да... да! Вы топ... топчете!

И поспешно убегает.

Может быть, загадочные намеки на «топот», которые неизменно заканчивались взрывами смеха, как-то связаны с тем, что у него, Джорджа, такие большие ноги? Может, поэтому Катамото каждый раз при встрече лукаво косится на них и прыскает со смеха? Впрочем, разгадка не заставила себя долго ждать. Однажды Катамото поднялся по лестнице и постучался к Джорджу.

Когда тот отворил дверь, японец хихикнул, блеснул белозубой улыбкой и вдруг словно бы смутился. Помялся минуту, вновь через силу улыбнулся и наконец сказал:

- Прошу вас, сэ-р... Не угодно ли вам... зайти ко мне... на чашку чая?

Он выговорил эти слова медленно, до крайности церемонно, и тут же снова широко, приветливо улыбнулся.

Джордж сказал: «Спасибо, с удовольствием», - надел пиджак, и они сошли вниз. Катамото заторопился вперед, неслышно ступая крохотными ножками в мягких домашних туфлях. Но громкие, тяжелые шаги Джорджа, видно, опять пробудили его обычную смешливость - на полпути он вдруг остановился, застенчиво

хихикнул и показал пальцем на ноги спутника:

– Топ-топ! Топочете!

Повернулся и чуть не бегом кинулся вниз по лестнице и дальше по коридору, хохоча, как маленький ребенок. Подождал у двери, торжественно растворил ее перед гостем, представил его тоненькой проворной японке (без нее, кажется, невозможно было вообразить это жилище) и, наконец, провел Джорджа в свой кабинет и стал угощать чаем.

Удивительное то было жилище. Катамото заново отделал превосходную старую квартиру и обставил ее согласно своему прихотливому вкусу.

Просторная комната в глубине, тесно заставленная всякой всячиной, причудливо разгороженная прелестными японскими ширмами, обратилась в лабиринт из уютных маленьких уголков и закоулков. Да еще Катамото пристроил лесенку, она вела на галерею, которая протянулась вдоль трех стен, и там, наверху, виднелась кушетка. Внизу все заставлено было крохотными столиками и стульчиками, но имелся и роскошный диван со множеством подушек. И всюду бесчисленные странные вещицы, безделушки из резного камня и слоновой кости, и все пропитано ароматом каких-то курений.

Впрочем, посреди комнаты оставалось пустое пространство, только пол был застлан заляпанной белым парусиной и возвышалась огромная гипсовая фигура.

Из слов Катамото Джордж понял, что японец занимается весьма выгодным делом: поставляет скульптуры для дорогих ресторанов и огромные, в пятнадцать футов вышиной статуи местных политических деятелей для украшения площадей в маленьких городках и даже в столицах штатов вроде Арканзаса, Небраски, Айовы и Вайоминга. Где и как овладел Катамото этим странным ремеслом, Джордж так и не узнал, но овладел в совершенстве, до тонкости, с истинно японским прилежанием и основательностью, и его изделия, видимо, находили больший спрос, чем работы скульпторов-американцев. Несмотря на малый рост и словно бы хрупкое сложение, Катамото был весь – воплощенная энергия и способен на подлинно титанический труд. Одному богу известно, как он справлялся, откуда только брались у него силы.

Джордж что-то спросил о гипсовой громадине посреди комнаты, и Катамото подвел его поближе и показал на ноги белого великана:

– Он совсем как вы!.. Топ-топ!.. Да-да... Он топочет!

Потом повел Джорджа на галерейку, и Джордж, как полагается, выразил свое восхищение.

– Да-да! Вам нравится? – Катамото широко, но не без смущения улыбнулся Джорджу, потом показал на кушетку: – Я тут сплю. – Потом ткнул пальцем в потолок, такой низкий, что Джордж не мог распрямиться во весь рост, и с живым интересом спросил: – А вы спите там?

Джордж кивнул.

Катамото опять заулыбался, но говорил он теперь с запинками, явно смущенный:

– Я тут, – он показал пальцем на свое ложе, – а вы там, да?

Он поглядел на Джорджа чуть ли не с мольбой, даже с отчаянием... и вдруг Джордж начал понимать.

– А, вы хотите сказать, что я как раз над вами? (Катамото с облегчением кивнул.) И когда я не ложусь допоздна, вам, наверно, слышно?

– Да-да! – Японец усиленно кивал. – Иногда... – Улыбка у него получилась немножко печальная. – Иногда вы... топочете! – С робкой укоризной он погрозил Джорджу пальцем и хихикнул.

– Ох, извините! – сказал Джордж. – Я ведь не знал, что вы спите так... под самым потолком. Когда я работаю допоздна, я всегда хожу из угла в угол. Прескверная привычка. Постараюсь отвыкнуть.

– Ой нет! – искренне огорчился Катамото. – Я не хочу, чтобы вы... как это вы сказали?.. меняли образ жизни!.. Что вы, сэр, помилуйте! Нужно немножко, пустяк – снимать на ночь башмаки! – Он показал пальцем на свои мягкие шлепанцы и с надеждой улыбнулся Джорджу. – Вам такие нравятся, да?

И опять улыбнулся своей неотразимой улыбкой.

С тех пор, разумеется, Джордж ходил дома в шлепанцах. Но иногда забывал переобуться, и наутро Катамото опять стучался к нему. Никогда он не сердился, был неизменно терпелив, добродушен, безукоризненно учтив, но неукоснительно призывал Джорджа к ответу.

– Опять топчете! – восклицал он. – Сегодня ночью опять топ-топ!

И Джордж просил прощения и обещал, что больше не будет, и Катамото уходил, посмеиваясь, и напоследок оборачивался, лукаво грозил пальцем, еще раз выкрикивал: «Топ-топ!» – и, захлебываясь смехом, сбегал с лестницы.

Они стали друзьями.

Шли месяцы, и нередко, возвращаясь домой, Джордж заставал полный коридор грузчиков; они пыхтели и потели, а Катамото, с головы до пят в белой пыли и гипсовой крошке, обуреваемый страхом, как бы не испортили его работу, вился вокруг; он испуганно и умоляюще улыбался, судорожно стискивал крохотные ручки и маялся жадой помочь делу: то весь вздрогнет, то метнется в ужасе и вновь отскочит, то съежится, то извивается всем телом – и непрерывно повторяет с напряженной, изысканной, вкрадчивой учтивостью:

– Теперь вот вы... пожалуйста... чуточку!.. И вы... да-да-да! (Он судорожно улыбается.) О-ох!.. Да-да... Прошу вас, сэръ!.. Нельзя ли пониже... чуточку... да... да-да! – Он переходил на шепот и искательно, с мольбой улыбался.

И грузчики по частям вытаскивали из дому и водружали в фургон какого-нибудь Перикла из Северной Дакоты – монумент таких размеров, что оставалось диву даваться, как изящный и с виду хрупкий маленький человечек ухитрился смастерить эдакую громадину.

Потом грузчики отбывали, и некоторое время мистер Катамото предавался праздности и отдыхал душой. Он выходил во двор со своей подружкой, тоненькой проворной японкой, в жилах которой, судя по внешности, текло еще и немного итальянской крови, и они часами играли в мяч. Катамото бил мячом в кирпичную стену соседнего дома и при удаче всякий раз залиvisto хохотал,

хлопал в ладоши и под конец уже хватался за живот и еле держался на ногах.

Захлебывался смехом и, не помня себя от восторга, пронзительно частил:

– Да-да-да! Да-да-да! Да-да-да!

А если заметит в окне Джорджа, встретится с ним взглядом – опять закатится, грозит пальцем и чуть не визжит:

– А кто у нас топочет?.. Да-да-да!.. Сегодня ночью опять топ-топ!

И в приступе неудержимого веселья побредет через двор, прислонится к стене и весь согнется, держась за тощий животик, и только слабо стонет от смеха.

Жаркое лето было уже в самом разгаре, и вот в первых числах августа, возвратясь домой, Джордж снова наткнулся на грузчиков. На сей раз, похоже, предстояло перевезти машину еще побольше прежних. Катамото, весь заляпанный белым, разумеется, маячил в прихожей, беспокойно улыбался и умоляюще суетился вокруг дюжих парней. Когда Джордж вошел в коридор, двое пятились ему навстречу, они тащили исполинскую голову с бульдожьими челюстями и с печатью подобающей государственному мужу умудренной прозорливости на челе. Чуть погодя из дверей скульптора, пятясь, вышли еще трое, – пыхтя, кряхтя и ругаясь, они ворочали кусок развевающегося долгополого сюртука и великолепно круглящееся обтянутое жилетом брюшко.

Тем временем вернулись первые двое и вновь появились, шатаясь под тяжестью могучей ноги в гипсовых брюках, обутой в башмак, который пришелся бы впору Атланту. Один из грузчиков, идущих за новой долей великого государственного деятеля, прижался к стене, давая им дорогу.

– Ух ты! – сказал он. – Коли этот сукин сын на тебя наступит своей ножищей, так и мокрого места не останется, верно, Джо?

Последней выволокли ручищу гипсового Солона, она заканчивалась сжатым кулаком, только указующий перст торжественно торчал ввысь, заклиная и укоряя.

Это был шедевр Катамото, – Джордж смотрел и чувствовал, что в гигантском поднятом пальце достигли вершины искусство и самая жизнь маленького скульптора. Конечно же, это самое заветное его творение.

Никогда раньше Джордж не видел его таким взволнованным. Грузчики обливались потом, а он, глядя на них, кажется, возносил молитвы к небесам.

Их грубые, неосторожные прикосновения к его любимому детищу заставляли его содрогаться. В улыбке, оледеневшей на его лице, был ужас. Он ежился, корчился, стискивая крохотные ручки, умоляюще что-то лепетал. Джордж не сомневался, если что-нибудь стряется с этим толстенным вытянутым гипсовым пальцем, Катамото рухнет бездыханный.

Но наконец этого Озимандию благополучно погрузили в огромный фургон и покатали прочь, а его создатель, маленький, тощенький, окончательно выбившийся из сил, стоял на обочине, растерянно глядя вслед. Затем вернулся в дом, увидел Джорджа и улыбнулся жалкой, вымученной улыбкой.

– Топ-топ, – выдавил он из себя и погрозил пальцем, но впервые – слабо и вяло, безо всякой веселости.

Никогда прежде Джордж не видел его усталым. Казалось, этот маленький человек вовсе не знает усталости. Он был такой живой, неутомимый. А тут, видно, совсем выдохся, и лицо какое-то землистое... Джорджу отчего-то стало грустно. Катамото помолчал минуту, потом поднял голову и вымолвил глухо, печально, но в голосе его все же сквозило любопытство:

– Вы статую видели? Да?

– Да, Като, видел.

– И понравилось вам?

– Да, очень.

– И... – Японец тихонько приснул и взмахнул руками. – И ноги видели?

- Видел.

- Я так думаю... вот кто будет топотать, да? - И он слабо усмехнулся.

- Да уж наверно, с эдакими копытами, - сказал Джордж и, чуть подумав, прибавил: - У него почти такие же ножищи, как у меня.

Катамото пришел в восторг.

- Да-да! - подхватил он, тоненько засмеялся и усиленно закивал.

Помолчал немного и нерешительно, но теперь уже не в силах скрыть любопытство, спросил: - А палец видели?

- Видел, Като.

- И понравилось? - был поспешный, жадный вопрос.

- Очень.

- Большой он, да? - В голосе Катамото нарастало торжество.

- Очень большой, Като.

- И по-ка-зы-вает... да? - с упоением произнес Катамото, расплылся в улыбке до ушей и тоже ткнул крохотным пальчиком в небеса.

- Да, показывает.

Скульптор умиротворенно вздохнул. Видно было, что он утешен и доволен, как дитя.

- Что ж, - сказал он, - я рад, что вам понравилось.

После этого Джордж с неделю не видел Катамото и даже не вспоминал о нем. В Школе прикладного искусства были каникулы, и теперь Джордж, не теряя ни минуты, днями и ночами самозабвенно предавался писанию. И вот как-то под вечер, докончив большой кусок, он швырнул исчерканные торопливыми каракулями страницы в грудку бумаги на полу, с облегчением откинулся на стуле, поглядел в окно, выходящее во двор, – и вдруг подумал о Катамото. Что-то в последнее время того совсем не видно, и даже не слышать знакомого постукивания мяча о стену и громкого, пронзительного смеха. И, оказывается, всего этого очень не хватает... Джорджу стало не по себе, встревоженный, он сбежал по лестнице и позвонил у дверей Катамото.

Никакого ответа. Тишина. Джордж подождал – никто к нему не вышел. Тогда он спустился вниз и отыскивал привратника. Тот сказал, что мистер Катамото болен. Нет, вроде ничего серьезного, но доктор велел отдохнуть, на время оставить тяжелую работу и отослал его в соседнюю больницу, – там, мол, будет и наблюдение, и уход.

Джордж собирался навестить приятеля, да был поглощен своей новой книгой и все откладывал. А через несколько дней, поутру, возвращаясь домой после завтрака в ресторане, он увидел перед домом фургон. Дверь Катамото была распахнута, Джордж заглянул: квартира опустела, грузчики уже почти все вынесли. Посреди комнаты, когда-то поразившей Джорджа, где Катамото так усердно трудился над своими детищами, стоял знакомый скульптора, молодой японец, Джордж его здесь уже встречал. Сейчас он распорядился отправкой мебели.

Заслышав шаги Джорджа, молодой японец поднял глаза и показал зубы в учтивейшей ледяной улыбке. Он не сказал ни слова, пока Джордж не спросил, как здоровье мистера Катамото. Тогда все с той же белозубой ледяной улыбкой, с той же непроницаемой учтивостью он сообщил, что мистер Катамото умер.

Джордж был ошеломлен. Постоял немного, понимал, что сказать тут нечего, и, однако, чувствуя, как все это чувствуют в подобные минуты: что-то сказать необходимо... Поглядел на молодого японца, открыл было рот – и встретил вежливый, непроницаемый, замкнутый взгляд самой Азии.

И не стал ничего говорить. Только поблагодарил молодого человека и вышел.

4. То, что никогда не меняется

Из окон, выходящих на улицу, Джорджу только и видна была угрюмая громадина склада через дорогу. Это был мрачный, уродливый домина унылого ржаво-бурого цвета, весь в жесткой паутине пожарных лестниц; по фасаду из конца в конец тянулась ветхая деревянная вывеска, а на ней выцветшими, почти неразборчивыми буквами значилось: «Агентство доставки». Джордж не знал, что за штука агентство доставки, но с тех пор, как он поселился на этой улице, дня не проходило, чтобы к бурому зданию не подъезжали огромные грузовики; аккуратно примериваясь, они пятились задом, пока не подбирались вплотную к истертым доскам погрузочной платформы, край которой круто обрывался на высоте четырех футов над тротуаром. Шоферы и их подручные соскакивали наземь, и тотчас молчаливые недра старого здания заполнял неистовый шум рабочей суеты, воздух гудел от резких окриков:

– Подай назад, вы, там! Подай назад! Давай, давай! Пособите-ка, ребята! Эй, вы!

Лица у этих людей были грубые, они глядели друг на друга насмешливо, негромко чертыхались, кривя губы. И яростно огрызались, отстаивая свои права, не желая сделать ни на волос больше, чем положено:

– А мне какое дело, куда везти! Это твоя забота, черт подери! Я-то при чем?

Работали они быстро, с удивительной силой и сноровкой, свирепые, недобрые, их подхлестывало какое-то злое беспокойство, и крикливые голоса звучали злобно.

Огромный город был этим людям жестокосердой матерью, и вскормила она их горечью. Они родились среди кирпича и асфальта, в многоэтажных людских ульях, на кишаших народом улицах, с младенчества их убаюкивал оглушительный лязг внезапно налетающих поездов надземки, сызмальства они учились драться, грозить, огрызаться и отбиваться в мире свирепого насилия, неумолчного шума и грохота – город наложил на них неизгладимое клеймо, проник в их плоть и кровь, кислотой въелся в их движения и речь, в их мысли и понятия. Грубые лица их были иссечены морщинами, загрубевшая серая кожа будто вся иссохла и выцвела. Самый пульс у них словно бился в яростном ритме города; искривленные губы готовы мгновенно изрыгнуть лязгающую железом

брань, в сердцах затаилась непомерная мрачная гордыня.

И души их были подобны асфальтовым ликам городских улиц. Каждый день по ним проносились неистовые краски тысяч новых ощущений – и каждый день все звуки, все краски, всю ярость вновь сметало без следа с этой упорной брони. Десять тысяч яростных дней пронеслось над ними – и ничего не осталось в их памяти. Они жили точно существа, рожденные только сегодня и сразу взрослыми, с каждым вздохом они начисто избавлялись от прошлого, и вся их жизнь заключалась в одной лишь настоящей минуте.

И как же они были тверды и уверены в себе, вечно неправы, но всегда самонадеянны. Они никогда не колебались, не признавались в неведении и ошибках, не знали сомнений. Каждое утро они начинали насмешкой, окриком, торопливой грубой руганью, им не терпелось окунуться в дневную суматоху. В полдень они прочно сидели в своих машинах и сквозь вонь бензина и разогретых моторов во всеуслышание кляли на чем свет стоит подлые трюки соперников, которые ухитрялись их обогнать, и тиранов полицейских, безмозглых пешеходов, и промахи братьев, не столь искусных в том же ремесле. Каждый день они встречали опасности, которыми грозила им улица, так невозмутимо, будто катили по глухим проселкам. Каждый день, глазом не моргнув, они пускались в приключения, перед которыми в ужасе и отчаянии отступили бы храбрейшие уроженцы захолустных окраин.

Пронизывающе сырой и холодной ранней весной они ходили в черных шерстяных блузах и кожаных куртках, но сейчас, летом, работали полуголые – и видно было, как на худощавых жилистых телах, под загаром и татуировкой, змеями извиваются мышцы. Джордж смотрел на их мощные и точные движения почтительно и едва ли не со стыдом. Ибо рядом с жизнью этих людей, которые научились наилучшим образом применять свои силы и таланты, его собственная жизнь, раздирающие его непримиримые порывы и желания, смутные планы и замыслы, труды, начатые с надеждой и, как часто бывало, брошенные на полпути, – все казалось бестолковым, неверным, все шло вслепую и кое-как.

А пять раз в неделю по ночам вдоль обочины выстраивался в молчаливом ожидании длиннейший караван. Теперь фургоны были крыты брезентом, по правому и левому борту горели зеленые фонарики да красновато тлели огоньки сигарет, так что едва можно было различить лица людей, которые негромко переговаривались в тени своих огромных машин. Как-то Джордж спросил одного шофера, куда они ездят по ночам, и тот объяснил: в Филадельфию,

оборачиваются к утру.

В этих ночных машинах, таких хмурых и тихих, жила, однако, могучая сила и нетерпение, словно и они, как шоферы, только ждали приказа двинуться в путь, и от этого для Джорджа вдруг все становилось таинственным и радостным. Эти люди принадлежат к великому братству тех, кто любит ночь, и его соединяют с ними те же узы. Ведь ночь всегда была ему не в пример милее дня, и все его творческие силы достигали высшего накала в потаенном ликующем объятии ночной темноты.

Ему знакомы были и радости, и тяжкий труд таких вот людей. Перед глазами вставала темная вереница машин, что с гроыханьем катили через спящие города, и лицо ему обдавало темнотой, свежим дыханьем полей. Он видел, как согнулись над рулями шоферы – они настороже, всем существом вслушиваются в сиреневый сумрак и впиваются глазами в дорогу, чтоб как-то отгородиться от пустынных ночных просторов. Знакомы ему были и придорожные буфеты, где они останавливаются перекусить, забегаловки, открытые день и ночь, – там тепло светят мутные лампы и то пусто, безлюдно, только дремлет за стойкой хозяин – важный грек в белом фартуке, то вдруг все заполнится шарканьем и топотом ног, громкими резкими голосами нахлынувших толпой шоферов.

Они входят, усаживаются на поставленных в ряд табуретах и заказывают еду. И ждут, и голод их все острее от запахов чисто мужской еды – кипящего кофе, яичницы, и жареного лука, и шипящих на сковороде бифштексов, а пока едим, бесценным и ничего не стоящим утешением служит им сигарета, они закуривают, заслонив огонек ладонью у твердых губ, и глубоко затягиваются, и медленный дым струится из ноздрей. Они щедро поливают бифштексы густым томатным соусом, темными, неотмывающимися пальцами разрывают ломти душистого хлеба и едят быстро, алчно, со свирепым наслаждением накидываются на тарелку и кружку, точно дикие звери на добычу.

О, он с ними, он из них и для них, он по-братски делит с ними радость и голод, до последнего жадного глотка, до последнего ублаженного вздоха блаженной сытости, до последнего медленно, с наслаждением выдохнутого дымного колечка. В колдовской летней тьме их жизнь казалась ему прекрасной. Вот они мчатся сквозь ночь в рассвет, в утренние птичьи песни, в утро, несущее земле новую радость. И когда он об этом думал, ему казалось – потаенно живущее во тьме неистовое и одинокое сердце человеческое вечно молодо и не может умереть.

Все то лето, лето 1929 года, он видел в большом окне склада напротив какого-то человека, который сидел за письменным столом, всегда в одной и той же позе, и смотрел на улицу. Когда бы Джордж ни вскинул глаза, тот неизменно сидел сложа руки, уставясь в окно застывшим, невидящим взглядом.

Поначалу Джордж его почти не замечал, такой тот был бесцветный, ненавязчивый, будто привычное пятно на выгоревших обоях. А потом его заметила Эстер и однажды, кивнув в его сторону, сказала весело:

– А вот и наш приятель из агентства доставки! Как ты думаешь, что он там доставляет? Сколько я смотрю, он ни разу палец о палец не ударил! Нет, ты обратил внимание? – с жаром воскликнула она. – Просто непостижимо! – Она громко рассмеялась, недоуменно пожала плечами и чуть погодя продолжала уже серьезно, озадаченно: – Правда, странно? Ну, что, по-твоему, способен делать такой человек? Как по-твоему, о чем он думает?

– Не знаю, – равнодушно отозвался Джордж. – Ни о чем, наверно.

И они забыли про этого человека и заговорили о своем, но с тех пор присутствие странного соседа досаждало Джорджу, и он как замороженный стал присматриваться и гадать – почему тот сидит будто истукан и куда уставился?

И Эстер теперь каждый день, чуть не с порога, бросала взгляд на окно напротив и восклицала с веселым удовлетворением, с каким находишь знакомую вещь на привычном месте:

– Ага, наш старый друг из доставки все еще смотрит в окошко! Любопытно, а сегодня он о чем задумался?

И со смехом отворачивалась. Минуту-другую, как всегда по-детски поддаваясь обаянию слов и ритмов, беззвучно шептала что-то без смысла и толку: «Доставка-обставка-травка-муравка-вербавка...» – и наконец, ликующе, нараспев, возвещала:

Он доставки не доставил,

От работы не устал!

Джордж заявлял, что это не стишки, а чепуха, но Эстер, запрокинув голову, вся красная, хохотала до слез.

Однако понемногу они перестали смеяться, глядя на этого человека. Его служба казалась загадочной, его невероятная праздность сперва их только забавляла, но потом они ощутили в этом странном, застывшем взгляде что-то внушительное, важное, даже грозное. Изю дня в день перед глазами этого человека с громом неслась по улице хлопотливая жизнь; изю дня в день подъезжали огромные фургоны, бурлил людской водоворот – торопливо, со злостью делали свое дело шоферы, грузчики, упаковщики, кричали, бранились... а человек у окна ни разу на них не посмотрел, ничем не показал, что слышит их, он словно бы вовсе их не замечал, просто сидел, уставясь в окно застывшим, невидящим взглядом.

На своем веку Джордж Уэббер видел многое множество всяких, казалось бы, пустячных мелочей, которые, однако же, запали в память, застряли в ней, будто репы в собачьей шерсти; и всегда именно какая-нибудь мелочишка врезалась ему в сердце, мгновенным озарением открывая что-то бесконечно глубокое и значительное. Так, он запомнил, запомнил навсегда, серьезное и сияющее лицо Эстер, – как оно нежданно вспыхнуло перед ним и тотчас исчезло в серой безликой толпе на Таймс-сквер. И так же запомнились двое глухонемых, которые разговаривали друг с другом на пальцах в вагоне метро; и смех детворы, что внезапно зазвенел в час заката на унылой безлюдной улице; и девушки, которых он видел из окна, выходящего в проулок, как они в своих каморках изю дня в день опять и опять стирают и гладят убогие наряды в вечном ожидании гостя – того, кто никогда к ним не придет.

И вот теперь к этим бережно хранимым в памяти пустякам прибавилось лицо незнакомца из агентства доставки – тупое, бледное, непроницаемое, и этот словно навек застывший равнодушно-печальный взгляд. В огромном городе, в лихорадочно бурлящем хаосе, где все так быстро появляется и проходит, исчезает и тут же забывается, всегда одинаковое, спокойное, бесстрастное лицо это стало для Джорджа символом незыблемости. Ибо день за днем наблюдал он этого человека и силился разгадать его тайну – и наконец, казалось, нашел ответ.

И потом много лет вспоминалось ему это лицо, и всегда – таким, каким он видел его как-то под вечер в конце лета. Заходящее солнце уже не слепит и не жжет, лишь окрашивает нагретый за день кирпич старого здания каким-то грустным призрачным светом. А у окна, как всегда, сидит тот человек и смотрит, смотрит. Не дрогнет немигающий взгляд, спокойный и печальный, и лицо этого человека – точно стены тюрьмы, где томится пленный дух.

Лицо его стало для Джорджа ликом Тьмы и Времени. Оно было безмолвно, и, однако, у него был голос – голос, которым словно говорила вся земля. То был голос вечера и ночи, и в нем слились воедино речи всех тех, что прошли через горячку и неистовство дня и теперь мирно оперлись на вечерние подоконники. В нем была вся необъятная тишина и усталость, что охватывает город в сумерки, когда окончился еще один суматошный день и все вокруг – улицы, дома, восемь миллионов человек – с усталым и грустным облегчением медленно переводят дух. И в этом единственном безъязыком голосе можно было различить все их разноязыкие речи.

– Дитя, – говорил этот голос, – дитя, наберись терпенья и веры, ибо из многих дней состоит жизнь, и всякий час настоящего минет. Сын, сын, ты бывал безумным и пьяным, бешеным и неистовым, тобой владели ненависть, и отчаяние, и все темные бури, какие сотрясают человеческую душу, – но так бывало и с нами. Ты убедился, что земля слишком велика – ее не объять за одну твою жизнь, ты убедился, твой мозг и мышцы куда слабей, чем сжигающие их желания и стремления, – но так бывало всегда и со всеми. Ты спотыкался во мраке, метался на распутьях, блуждал, сбивался с дороги, – но, дитя, так от века повелось на этой земле. И теперь, когда ты изведаль безумие и отчаяние и еще не раз отчаешься вновь, прежде чем настанет вечер, – мы, что уже пытались взять приступом эту неистовую землю и потерпели поражение, мы, кого доводила до безумия непостижимая горькая тайна любви, кто жаждал славы и испытал все, чем полна жизнь, – смятение, боль, ярость, – и вот теперь, сидя у окна, спокойно смотрим на все, что никогда уже нас не встревожит, – мы говорим тебе: не падай духом, ибо, поверь, все пройдет.

За наш век блеснуло и сменилось столько мод, столько возникло и отжило новинок, столько забылось слов, столько имен возносилось в сиянии славы и рушилось в бездну; а теперь мы знаем, мы недолгие гости, чьи шаги не оставляют следа на бесконечных дорогах жизни. Мы больше не вступим во мрак, не поддадимся мукам безумия, не признаемся в отчаянии; мы огородились глухой стеной. Нам уже не придется слушать, как часы отбивают время под

чуждым небом, и просыпаться поутру в чужой стране с мыслью о родном доме: наши скитания окончены и голод утолен. Брат, сын, товарищ, знай, мы долго жили и много видели – и оттого теперь нам довольно обладать совсем немногим, и пусть все остальное в мире проходит мимо нас.

Есть на свете такое, что никогда не меняется. Есть такое, что остается навсегда. Прильни ухом к земле и слушай.

Лепет лесного ручья в ночи, смех женщины в темноте, звонкий дробный стук гравия под граблями, полуденный стрекот кузнечиков на знойном лугу, тончайшая паутина детских голосов в ясный день – вот что навеки неизменно.

Блики солнца на играющей волне, сияние звезд, чистота утра, соленое дыхание моря в гавани, ветви в набухших почках, окутанные дымкой, нежнейшим оперением новорожденной листвы, и во всем этом что-то мимолетное, навеки неуловимое, острым шипом пронзающая сердце весна, пронзительный безъязыкий клич, – вот что остается навеки неизменным.

Все, что от самой земли, не изменяется – лист, былинка, цветок, ветер, который плачет, и засыпает, и пробуждается вновь, и деревья, чьи окоченелые руки содрогаются и стучат друг о друга во мраке, и прах давным-давно зарытых в землю влюбленных, – все, что рождает земля в каждое время года, все, что течет и меняется и вновь возникает на земле, – все это пребудет неизменным, ибо возникает из земли, а она не меняется, и возвращается в землю, а она – вечна. Одна только земля непреходяща, и она пребывает вовеки.

И тарантул, ехидна, гадюка тоже не меняются. Боль и смерть навсегда остаются те же. Но что-то бьется, словно пульс, под асфальтом мостовых, бьется, словно крик, под камнем зданий, под тяжкими шагами уходящего времени, под жестоким копытом зверя, дробящего кости городов, что-то прорастает, как цветок, вновь прорывается из земли и, бессмертное, навеки верное, вновь оживает, словно апрель.

5. Потаенный ужас

Он с любопытством поглядел на желтый конверт, повертел его в руках.

Странно было видеть сквозь прозрачную обертку свое имя, почему-то он ощутил и неловкость, и сдержанное волнение. Не привык он получать телеграммы. И невольно медлил, не вскрывал конверт, страшно было узнать, что там, внутри. Какой-то давно забытый случай в детстве внушил ему, что телеграмма всегда несет дурные вести. Кто мог ее послать? О чем она? Так вскрой же ее, дурень, и прочитай!

Он разорвал конверт, вынул листок. Первым делом глянул на подпись – телеграмма была от дяди, Марка Джойнера. И прочел:

«Твоя тетя Мэй умерла ночью точка похороны четверг Либия-хилле точка приезжай домой если можешь».

И все. Ни слова о том, от чего она умерла. Скорее всего, от старости.

Ничто другое не могло бы ее убить. Она ничем не болела, не то его известили бы раньше.

Эта весть потрясла его. Но не так сильно было горе, как ощущение огромной утраты, словно бы даже какого-то стихийного бедствия... утраты, в которую просто не верится, будто вдруг перестала действовать некая великая сила самой природы. Это не вмещалось в сознании. С тех пор как умерла его мать (Джорджу было тогда всего восемь лет), тетя Мэй была самым прочным и непоколебимым столпом в мире его детства. Старая дева, старшая сестра его матери и дяди Марка, она взяла на себя заботу о мальчике и в его воспитание вложила весь пыл и усердие своей пуританской натуры. Всеми силами старалась она вырастить его настоящим Джойнером, достойным отпрыском замкнутого племени из горной глуши, к которому принадлежала она сама. Ей это не удалось, и его отступничество от истинно джойнеровской добропорядочности заставляло ее глубоко страдать. Он давно это знал; но только теперь ясней, чем когда-либо раньше, он понял: она всегда неукоснительно исполняла то, что считала своим долгом. Ему вспомнилось, как она жила, и невыразимая жалость, любовь и нежность захлестнула его, прихлынула к горлу и едва не задушила.

Всегда, с тех пор как он себя помнил, тетя Мэй казалась ему древней старухой, старой как мир. Ему и сейчас слышался ее голос – хрипло, на одной ноте тянула она бесконечную повесть о прошлом, населяя мир его детства толпами Джойнеров, которые давно отжили свое и похоронены в горах Зибулона еще до Гражданской войны. И едва ли не каждый ее рассказ был долгим перечнем недугов, смертей и скорбей. Она знала назубок все про всех Джойнеров за последние сто лет, знала, кого унесла чахотка, а кого воспаление легких, менингит или пеллагра, и явно наслаждалась, хриплым голосом воскрешая каждое событие из их жизни. Она рисовала мальчику его родичей с гор мрачными красками вечной нищеты и внезапно наступающей смерти, и грозную картину эту вновь и вновь озаряло призрачными сполохами вмешательство потусторонних сил. Тетя Мэй была убеждена, что сам Всевышний наделил Джойнеров особым даром, приобщив их к миру духов: то и дело кто-нибудь из них объявлялся в безлюдье на пустынной дороге и заговаривал с одинокими путниками, а потом оказывалось, что в это самое время он был за полсотни миль от того места. Вечно им слышались таинственные голоса, вечно их одолевали недобрые предчувствия. Если нежданно-негаданно умирал кто-то из соседей, со всей округи за много миль стекались Джойнеры и сидели возле покойника, и в пляшущих отсветах очага, где пылали сосновые поленья, всю ночь напролет толковали о том, как еще за неделю нечто предсказало им эту неминуемую гибель, и лишь треск осыпающихся угольев порой прерывал глухое, ровное жужжанье их голосов.

Таков был облик мира Джойнеров, который сложился в душе и в мыслях мальчика из неистоцимых воспоминаний тети Мэй. И у него возникло странное чувство, будто, в отличие от всех людей, кому суждено прожить свой срок и умереть, Джойнеры – особая порода и не подвластны этому закону. Они питаются смертью и торжествуют над ней, и не поддадутся ей во веки веков.

А теперь тетя Мэй, самая старшая и самая, казалось, бессмертная из всех Джойнеров, умерла...

Похороны назначены на четверг. Сегодня вторник. Если выехать поездом сегодня, завтра он будет дома. Но, конечно, уже сейчас все племя Джойнеров с гор округа Зибулон в Старой Кэтоубе собирается вместе, чтобы справить извечный обряд надгробного бдения, и если приехать так рано, никуда не укроешься от этих ужасных, тоску наводящих разговоров. Лучше переждать день и подгадать к самым похоронам.

На дворе – первые числа сентября. Занятия в Школе прикладного искусства начнутся только в середине месяца. Уже несколько лет Джордж не был в Либия-хилле и теперь подумал – можно бы провести там с неделю, вновь поглядеть на родные места. Только вот страх берет при мысли поселиться среди родичей Джойнеров, да еще в пору траура. И тут ему вспомнился ближайший сосед, Рэнди Шеппертон. Родителей Рэнди уже нет в живых, старшая сестра вышла замуж и куда-то уехала. У Рэнди в Либия-хилле неплохая служба, и живет он все в том же доме вместе с другой сестрой, Маргарет, она ведет хозяйство. Пожалуй, можно бы остановиться у них. Они поймут. И Джордж дал Рэнди телеграмму, просил приютить его на недельку и сообщал, каким поездом приедет.

На другой день, когда Джордж поехал на Пенсильванский вокзал, первое потрясение от вести о смерти тетушки Мэй уже улеглось. Подумать страшно, до чего легко ум человеческий применяется ко всему на свете, и особенно наглядно это проявляется в его непостижимой жизнестойкости, в способности к самозащите и самосохранению. Лишь бы не рухнули все основы твоего бытия – и, если ты молод, здоров духом и у тебя еще есть время, ты примиряешься с неизбежным и уже готов встретить новые невзгоды, словно исполненный мрачной решимости американский турист, который, едва прибыв в новый город и оглядевшись по сторонам, деловито осведомляется: «Ну, а теперь куда?»

Так было и с Джорджем. Предстоящие похороны приводили его в ужас, но до них оставались еще сутки; а пока что впереди долгие часы в поезде, – и вот, запрятав печаль и уныние в дальний угол души, он позволяет себе пока что насладиться радостным волнением, какое всегда пробуждает в нем поездка по железной дороге.

Вокзал встретил его налетающим издалека необъятным гулом времени. В пол косо упирались широкие полосы света, и в них роились мириады пылинок; и, возносясь над кишасцей внизу неугомонной тысячеголосой толпой, под сводами огромного зала невозмутимо звучал голос времени. В нем как бы слышался ропот далекого моря, медленный плеск лениво набегающих на песок и вновь отступающих волн. Он был подобен стихии, отрешенный, равнодушный к людским жизням. Они вливались в него, точно капли дождя – в реку, величаво катящую свои воды из недр багровеющих на закате гор.

Не много есть на свете зданий столь огромных, чтобы вместить голос времени, и сейчас Джордж думал – просто великолепно, что лучше всего для этого

подходят вокзалы. Ведь здесь, как нигде, людей на миг сводит вместе начало или конец их неисчислимых странствий, здесь видишь их встречи и расставанья, здесь в одном мгновенье перед тобой раскрывается вся человеческая судьба. Люди приходят и уходят, мелькают и исчезают, каждого всякая прожитая минута приближает к смерти, и крохотный маятник, отсчитывающий мгновенья каждому, вступает в единое звучание времени, – но голос времени остается равнодушным и невозмутимым: вечный дремотный ропот под исполинскими далекими сводами.

Все здесь, мужчины и женщины, поглощены каждый своим странствием. В непрерывном круговороте толпы у каждого – свое направление и своя цель.

Каждому предстоит свое путешествие, и никому нет дела до чужих. Сидя в зале ожидания, Джордж заметил человека, который ужасно боялся пропустить свой поезд. От волнения ему не сиделось на месте, он лихорадочно суетился, окликал носильщика, а когда пошел к кассе покупать билет, пришлось стоять в очереди – и он чуть не прыгал от нетерпенья и поминутно взглядывал на часы. Потом, скользя по истертым плитам пола, к нему заспешила жена; еще издали она закричала:

– Ну, ты взял билеты? У нас времени в обрез! Мы упустим поезд!

– Сам знаю! – с досадой закричал в ответ муж. – Я и так из кожи вон лезу. – И прибавил громко, сердито: – Может, мы еще успеем, если этот, передо мной, перестанет копать и возьмет наконец билет.

Человек, стоявший впереди, угрожающе повернулся:

– Подождешь, подождешь малость! Тебе одному, что ли, надо поспеть на поезд! Я пораньше тебя пришел. Все ждут своей очереди, и ты подождешь.

Завязалась перебранка. Люди, дожидавшиеся позади этих двоих, начали злиться и ворчать. Кассир нетерпеливо застучал по своему окошку, потом выглянул и недовольно уставился на спорщиков. Какой-то молодчик в хвосте завопил:

– Да пошли вы к чертям отсюда и там разбирайтесь! Пропустите нас! Нечего всех задерживать!

Но вот беспокойный человечек получил билеты и, вне себя от волнения, со всех ног помчался к своему носильщику. Благодушный негр встретил его широчайшей улыбкой.

– Спешить-то вам ни к чему. До поезда времени пропасть. Никуда он без вас не уйдет.

Кто они, эти путешественники, для которых время свернуто в тоненькую пружинку синей стали, сунутую каждому в карман? Вот, к примеру, негра потянуло в родную Джорджию; богатый молодой землевладелец с Гудзона едет в Вашингтон навестить мать; директор местного отделения фирмы сельскохозяйственных машин и трое его подчиненных возвращаются со съезда; глава одного из захолустных банков в Старой Кэтоубе, оказавшегося недавно под угрозой краха, ринулся вместе с двумя местными политиками в Нью-Йорк умолять тамошних банкиров о займе, а теперь едет восвояси; смуглый грек в коричневых башмаках, с картонным чемоданчиком, недоверчиво блестя глазами, заглядывает в окошко кассы и подозрительно спрашивает:

– А за билет до Питтсбурга сколько возьмете?

Женственного вида молодой человек, питомец одного из нью-йоркских институтов, отправляется читать еженедельную лекцию о театральном искусстве в дамский клуб города Трентона, штат Нью-Джерси; поэтесса откуда-то из Индианы, по своему обыкновению, раз в году развлекалась в Нью-Йорке «жизнью богемы»; боксер со своим менеджером едет на матч в Сент-Луис; компания студентов из Принстона провела лето в Европе и до начала занятий спешит накоротке навестить родных; тут же солдат, рядовой армии Соединенных Штатов, с виду никчемный, неотесанный и неряшливый, как все рядовые в армии Соединенных Штатов; и ректор университета одного из штатов Среднего Запада, красноречиво взывавший в Нью-Йорке к попечителям о финансовой помощи; и чета новобрачных с берегов Миссисипи, у этих все новехонькое с иголочки – и одежда, и чемоданы, а лица испуганные, враждебные и ошеломленные; и два щуплых филиппинца с кофейно-коричневой кожей и тоненькими, птичьими косточками, разряженные, щеголеватые, как манекены в витрине; и провинциалы из Нью-Джерси, что ездили в большой город за покупками; и женщины и молоденькие девушки, которые выбрались сюда из каких-то южных и западных городишек, кто на каникулы, кто в гости, кто поразвлечься и кутнуть; директора и агенты провинциальных магазинов готового платья со всех концов страны, – этим надо было обзавестись новинками

стиля и моды; нью-йоркские жители особого склада, чувственные франты, блестящие, изысканные и холодные, всезнающие и самоуверенные, едут поразвлечься в Атлантик-сити; поблекшие, неряшливые, замученные матери бранят и дергают за тощие ручонки чумазных ребятишек; темнолицые хмурые, надменные итальянцы со смуглыми неопрятными, расплывшимися женами, угрюмо, но покорно сносящими и мужнюю похоть, и мужние побои; и элегантные американки, которых не укротит ни постель, ни плеть, – у них уверенные, резкие голоса, вызывающий взгляд, они прекрасно сложены, но начисто лишены живой гибкости духа и тела, чужды любви, страсти, нежности, какой бы то ни было женственности и мягкости.

Кого тут только нет, каких только не увидишь путников: бедняки с ожесточенными, каменными лицами – воплощенная глубокая провинция духа и плоти; обтрепанные неудачники с чемоданишками, в которых только и есть что рубашка да воротничок с галстуком, – кажется, они вечно сваливаются с проходящих поездов в копоть и пыль все новых городишек в надежде, что хоть здесь им наконец повезет; жалкие бродяги и никчемушники, перекати-поле со всей страны; богатые, лощеные, многоопытные путешественники, которых слишком часто и слишком далеко уносило несчетное множество роскошных поездов и пароходов и которые никогда уже не смотрят в окно; старики и старухи из захолустной глуши, которые впервые навещали своих детей в большом городе, – они поминутно бросают по сторонам опасливые взгляды, у них быстрые, подозрительные глаза, точно у птицы или звереныша, и они все время настороже, недоверчивые, боязливые. Тут есть люди, которые все видят и понимают; и такие, что глухи и слепы ко всему на свете, усталые, угрюмые, недовольные; и такие, что радуются, кричат и хохочут, в восторге от предстоящей дороги; одни толкаются и лезут сквозь толпу, другие тихо стоят в сторонке и смотрят и ждут; у иных лица насмешливые или надменные, а иные ощетинились, смотрят свирепо, вот-вот полезут в драку. Молодые и старые, богатые и бедные, евреи и христиане, негры, итальянцы, греки, американцы – все они сошлись тут, на вокзале, бесконечно разнообразные судьбы их вдруг обрели общее звучание, исполнились глубокой и мрачной значительности, собранные вместе и объятые неумолчным, слитным и всепоглощающим гулом времени.

Место Джорджа было в вагоне K19. В сущности, вагон этот ничем не отличался от других пульмановских вагонов, но для Джорджа он был совсем особенный. Ведь именно K19 изо дня в день связывал друг с другом две точки в разных концах материка – крупнейший город страны и отстоящий от него на восемьсот миль Либия-хилл, крохотный городишко, где Джордж родился. Каждый день в

час тридцать пять он отправлялся из Нью-Йорка и прибывал в Либия-хилл на другое утро в одиннадцать двадцать.

Войдя в вагон, Джордж мгновенно перенесся из разноликого и расплывчатого вокзального многолюдья в знакомый уголок родного города.

Можно уехать оттуда на долгие годы и за все время не видеть ни одного знакомого лица; можно скитаться на чужбине и забрести на край света; можно наградить младенцем корень мандрагоры, услышать пение русалок, понять и запомнить наизусть напевы сирен; можно весь век жить и работать отшельником в ущельях Манхэттена, пока самое воспоминание о доме не истает, не станет далеким, как сон, – но едва Джордж вошел в вагон K19, все разом вернулось, ноги его коснулись твердой земли: он снова дома.

Сверхъестественно, почти жутко. И что самое удивительное и загадочное – на это свидание можно прийти каждый день ровно в час тридцать пять; надо только добраться по шумным улицам, в потоке людей и машин, до высоченных дверей огромного вокзала, одолеть кипящий в вестибюле людской водоворот, где вечно сталкиваются приезжающие и отъезжающие, пересечь громадные залы, заселенные Всеми и Каждым, просторы, где звучит призрачный голос времени, спуститься по крутым ступеням, – и здесь, в глубине туннеля, под этим миром, гудящим жизнью, точно улей, на своем неизменном месте, с виду точно такой же, как все его чумазые от копоти собратья, стоит вагон K19.

Проводник, улыбаясь во весь рот, взял у Джорджа чемодан.

– Это вы, сэр, мистер Уэббер! Радостно вас повидать, сэр! Едете навестить своих?

Идя за ним по зеленому коридору к своему месту, Джордж объяснил, что едет на похороны тетки. Веселая улыбка тотчас угасла, лицо у негра стало серьезное и почтительное.

– Горестно мне это слышать, сэр, – сказал он, качая головой. – Да, сэр, очень горестно мне такое слышать.

Не успели отзвучать эти слова, как Джорджа окликнули сзади, и он, еще не обернувшись, по голосу узнал, кто с ним здоровается. Это был Сол Айзекс,

владелец магазина готового платья, – ясное дело, ездил в Нью-Йорк закупать товар, он всегда проделывал это путешествие четырежды в год. У Джорджа стало даже как-то теплее на душе, когда он понял, что старый коммерсант все так же неукоснительно верен своим привычкам, и вновь увидел эту дружелюбную физиономию с крючковатым носом и кричаще пеструю рубашку, яркий галстук, щегольской светло-серый костюм (Сол всегда был известен как завзятый модник).

Потом Джордж огляделся – нет ли еще знакомых? Да, вот высокий, сухой и тощий, того гляди, переломится, изжелта-бледный банкир Джарвис Ригз что-то обсуждает с двумя другими либия-хиллскими столпами, занимающими скамью напротив. Джордж узнал мэра – круглолицего, вяло благодушного Бакстера Кеннеди; рядом с ним, выставив неуклюжие ножищи в коридор и откинув на спинку скамьи голову, украшенную, точно тонзурой, большой плешью в бахrome черных волос, расселся жирный и тучный, как вол, Пастор Флэк; когда он говорил, обрюзглые щеки его тряслись; он был в Либия-хилле главным политическим заправилкой, а прозвище Пастор получил за то, что не пропускал ни одного молитвенного собрания в Кемпбелитской церкви. Все трое увлеклись, говорили громко, и до Джорджа долетали обрывки разговора:

– Базарная улица – еще бы, от Базарной я и сам не откажусь!

– Гэй Радд за свой фут по фасаду спрашивает две тысячи. И получит, будьте уверены. Я бы взял две с половиной и ни центом меньше, только я не продаю.

– Года не пройдет, цена за фут будет все три тысячи, помяните мое слово! И это не все! Это еще только начало!

Неужели они толкуют про Либия-хилл? Уж очень это непохоже на сонный горный городишко, знакомый ему с колыбели. Джордж поднялся и подошел к тем троим.

– А, здорово, Уэббер! Здорово, сынок! – Пастор Флэк скорчил гримасу, которая должна была изображать приветливую улыбку, выставил напоказ большие желтые зубы. – Рад тебя видеть. Как поживаешь, сынок?

Джордж пожал руки всем троим и остановился подле них.

– Мы слышали, как ты говорил с проводником, когда вошел, – сказал мэр и состроил торжественно-скорбную мину. – Сочувствую, сынок. Мы ничего не знали. Целую неделю пробыли в отъезде. Скоропостижно скончалась?.. Да, да, понятно. Что ж, твоя тетушка была уже в годах. В таком возрасте приходится быть к этому готовым. Хорошая была женщина, очень хорошая. Сочувствую, сынок, жаль, что ты возвращаешься домой по такому печальному поводу.

Настало короткое молчание, словно другие двое давали понять, что мэр высказал и их чувства тоже. Выразив таким образом уважение к покойнице, Джарвис Ригз оживленно заговорил:

– Надо тебе побыть дома подольше, Уэббер. Сам увидишь, наш город не узнать. Дела процветают. Только на днях Мак Джадсон выложил триста тысяч за Мануфактурный склад. Развалине этой, конечно, грош цена, но он платил за землю. По пять тысяч за фут. Недурно для Либия-хилла, а? Фирма Ривза откупила всю землю по Паркер-стрит, начиная от Паркер-хилла. Они хотят застроить этот участок под конторы и магазины. И так по всему городу. Через пять лет наш Либия-хилл будет самым большим и красивым городом в штате. Помяни мое слово.

– Да, – с понимающим видом поддержал Пастор Флэк и внушительно закивал.

– И я слышал, они хотели купить участок твоего дяди на Южной Мэйн-стрит, на углу площади. Какой-то синдикат собирается снести скобяную лавку, а на ее месте построить большой отель, но твой дядюшка продавать не стал. Его не проведешь.

В растерянности и недоумении Джордж вернулся на свое место. Он уже несколько лет не был дома, и ему хотелось увидеть родной город таким же, каким тот оставался в памяти. А там, видно, все переменялось. Что же происходит? Просто понять нельзя. Беспокойно и смутно ему стало – так всегда бывает, когда вдруг тебе откроется, как меняет время все, что было знакомо и привычно с колыбели.

Поезд пулей промчался по туннелю под Гудзоном, вылетел на слепящий свет послеполуденного сентябрьского солнца и теперь несся по плоским, унылым равнинам штата Джерси. Джордж смотрел, как за окном сменяют друг друга тлеющие груды мусора, болота, закопченные фабрики, и наслаждался: до чего

же это здорово – катить поездом! Совсем не то, что смотреть на проносящийся поезд со стороны. Для стороннего зрителя поезд – налетающий гром, сверканье рычагов, жаркий шквал свистящего пара, слитный промельк вагонов, стена движенья и шума, визг, вопль, а потом – пустота, утрата: вот все и уехали, – хоть и не знаешь, кто там был. И вдруг ощущаешь, до чего огромна и пустынна Америка, до чего ничтожны все эти крохотные существованья, пронесшиеся мимо по необъятному материку. А вот когда ты сам в вагоне, тогда все по-иному. Ведь поезд – чудесное создание рук человеческих, и все в нем красноречиво свидетельствует о человеческой воле и целеустремленности. Чувствуешь, как включаются тормоза, когда состав приближается к реке, и знаешь, дросселем управляет искусная и твердая рука. Сидишь в поезде – и сам уверенней ощущаешь себя мужчиной, повелителем вещей. А люди вокруг – до чего они живые, настоящие! На толстого чернокожего проводника с ослепительно белыми зубами и вздувшейся за ухом шишкой глядишь как на старого друга, становится теплее на душе.

Зорко всматриваешься во всех подряд хорошеньких девушек, и чаще стучит сердце. С живым интересом смотришь на всех пассажиров, и кажется, целую вечность с ними знаком. Наутро почти все они навсегда уйдут из твоей жизни; иные молчаливо исчезнут за ночь, под беспросветный храп остальных, одурманенных сном; но сейчас всех их в стремительном движении соединила странная мимолетная близость, оттого что этот пульмановский вагон на одну ночь стал их общим домом.

Два торговых разъездных агента сошлись в купе для курящих, мигом признали друг в друге членов обширного братства коммивояжеров и вот уже рассуждают об огромной стране непринужденно, как о задворках собственного дома. Помянули о случайной встрече с таким-то в июле месяце в Сент-Поле, и еще...

– А всего неделю назад в Денвере выхожу я из Браун-отеля и сталкиваюсь нос к носу – с кем бы вы думали?

– Да неужели! А я старика Джо уже сто лет не видал!

– А про Джима Уизерса слыхали? Его перевели в отделение в Атланте!

– Вы сейчас в Новый Орлеан?

- Нет, в эту поездку не попаду. Я там был в мае.

Такие разговоры сближают мгновенно. Просто и естественноходишь в жизнь людей, которых свело здесь на одну только ночь и швырнуло через всю страну со скоростью шестьдесят миль в час, и становишься членом огромной семьи, населяющей землю.

Быть может, таково странное, тревожное противоречие всей жизни у нас в Америке - мы чувствуем себя прочно и уверенно только в движении. По крайней мере, так казалось молодому Джорджу Уэбберу, - никогда не бывал он так полон уверенности и решимости, как в часы, когда ехал куда-либо поездом. И никогда не было в нем так сильно ощущение дома, как по дороге домой. Но стоило доехать - и тут-то он чувствовал себя бездомным.

В дальнем конце вагона поднялся человек и пошел по проходу в сторону уборной. Он шел прихрамывая, опираясь на палку, а свободной рукой держался за спинки скамей: вагон сильно качало. Человек этот поравнялся с Джорджем, который по-прежнему сидел, глядя в окно, и вдруг остановился. И, словно поток яркого света, хлынул в сознание Джорджа звучный, добродушный басок, приветливый, непринужденный, чуть насмешливый, бесстрашный, такой знакомый - все тот же, что когда-то, в четырнадцать.

- Провалиться мне на этом месте! Да это ж Обезьян! Ты куда собрался?

Услыхав свое давнее шуточное прозвище, Джордж вскинул голову. Перед ним стоял Небраска Крейн. Квадратная, веснушчатая, обожженная солнцем физиономия светилась прежним насмешливым дружелюбием, угольно-черные глаза истого индейца чероки смотрели с прежним откровенным, беспощадным бесстрашием. Протянулась огромная смуглая лапа, и они обменялись крепчайшим рукопожатием. И сразу стало так, будто он вернулся под надежный и приветливый кров. Через минуту они сидели рядом и разговаривали, как самые близкие люди, которых не изменит и не разлучит никакая пропасть - ни годы, ни расстояния.

За все годы с тех пор, как Джордж впервые уехал из Либия-хилла и поступил в колледж, он только однажды встретился с Небраской Крейном. Но не терял его из виду. Никто не терял из виду Небраску Крейна. По всему облику жилистого

бесстрашного мальчонки-индейца, который что ни день шагал под гору по Локаст-стрит с бейсбольной битой через плечо и лоснящейся рукавицей принимающего, торчащей из кармана, можно было предугадать завидную будущность: Небраска стал профессиональным игроком, его с ходу брали в самые знаменитые команды, и о его спортивных подвигах изо дня в день трубили газеты.

Газеты и помогли им свидеться в прошлый раз. Это случилось в августе 1925-го, когда Джордж только что вернулся в Нью-Йорк после первой поездки за границу. В тот же вечер, вернее незадолго до полуночи, он сидел в ресторане Чайлда, пил кофе с горячими пирожками и просматривал еще влажный оттиск завтрашнего номера «Гералд трибюн», и вдруг в глаза ему бросился крупный заголовок: «Крейн отбивает еще один мяч». Джордж жадно впился в отчет об игре, и ему отчаянно захотелось вновь увидеть Небраску и опять ощутить всем существом дух истинной Америки. Повинуясь внезапному порыву, он решил позвонить. Конечно же, имя Небраски значилось в телефонной книге, адрес – где-то в Бронксе. Джордж назвал номер и стал ждать. Отозвался мужской голос, Джордж не сразу его узнал.

– Алло!.. Алло!.. Мистер Крейн дома?.. Это ты, Брас?

– Алло. – Небраска говорил неуверенно, медлительно, в голосе его слышались настороженность и недоверие, как у всякого жителя гор в разговоре с чужими. – Кто это?.. Кто?.. – И, вдруг узнав, закричал: – Обезьян, неужто ты?! Черт меня подери! – Теперь в голосе слышались радость, изумление, самая дружеская сердечность, и он звучал выше и протяжней, как-то нараспев (горцы нередко так говорят по телефону): громко, звучно, совсем не по-городскому и чуть растерянно, будто он с горы окликал кого-то на другой горной вершине в непогожий осенний день, под шум листвы, исхлестанной порывами ветра. – Откуда ты взялся, парень? Как живешь, черт возьми? – заорал он прежде, чем Джордж успел ответить. – Ты где пропадал столько времени?

– Был в Европе. Только сегодня утром вернулся.

– Черт меня подери совсем! – все еще с изумлением, но и с неудержимым радостным дружелюбием. – Когда ж увидимся? Может, придешь завтра поглядеть игру? Я тебя проведу. И вот что, – торопливо продолжал Небраска, – если у тебя найдется время, после игры поедem ко мне, я тебя познакомлю с женой и с малышом. Идет?

На том и порешили. Джордж пошел на стадион и полюбовался еще одной победой Небраски, но куда памятной осталось то, что было после. Когда спортсмен принял душ и оделся, двое друзей направились к выходу, а там, у ворот, подстерегала толпа мальчишек. Это были смуглолицые, темноглазые и темноволосые сорванцы, что вырастают на грязных нью-йоркских мостовых, словно там посеяны зубы дракона, но, как ни странно, в не по-ребячьи огрубевших лицах и хриплых голосах еще сохраняется чистота и доверчивость, свойственные детям во всем мире.

– Вот он, Брас! – орали ребята. – Эй, Брас! Привет, Брас! – Его вмиг облепила буйная орда, в ушах звенело от пронзительных криков, мальчишки вопили, клянчили, дергали его за рукав, наперебой, теснясь и толкаясь, протягивали грязные клочки бумаги, огрызки карандашей, потрепанные записные книжечки, – они жаждали автографа.

Небраске и тут не изменили доброта и отзывчивость. Ловко протискиваясь сквозь толпу орущих, напирющих, прыгающих от нетерпения мальчишек, он наскоро нацарапал свое имя на десятке мятых бумажонок и при этом не умолкая сыпал шуточками, добродушно поддразнивал и поругивал своих чумазных поклонников.

– Ладно, давай сюда!.. Отцепились бы хоть на время, нашли бы себе кого другого... Эй, ты! – Он вдруг нацелился грозным указующим перстом на какого-то злополучного малыша. – Ты чего сегодня опять явился? Я для тебя уж двадцать раз расписывался!

– Нет, сэр, мистер Крейн! – с жаром возразил мальчишка. – Это был не я, вот ей-богу!

– Ведь я прав? – призвал Небраска в свидетели остальных. – Разве этот малый не приходит сюда каждый день?

Мальчишки заулыбались, огорчение товарища их забавляло.

– Верно, верно, мистер Крейн! У него цельная тетрадка такая, и на каждом листочке вы расписались!

– Да вы что! – вскричала жертва, возмущенная таким предательством. – Врете нахально, чего выдумали! Вот ей-богу, мистер Крейн. – Он опять поднял умоляющие глаза на Небраску. – Не слушайте вы их! Вы только мне подпишите ай-то-граф. Пожалуйста, мистер Крейн, это ж одна минутка!

Еще мгновение Небраска с притворной суровостью смотрел на мальчонку; потом взял протянутую тетрадку, наскоро нацарапал через всю страницу свое имя и отдал тетрадь владельцу. На миг накрыл широкой ладонью встрепанную макушку, неловко погладил, тотчас легонько, шутливо оттолкнул и зашагал прочь.

Жилище Небраски в точности походило на сто тысяч таких же в районе Бронкс. Уродливое здание рыжего кирпича с ложным фасадом – по углам крыши торчали какие-то бессмысленные башенки, во всем чувствовались потуги на роскошь. Комнаты, маленькие и тесные, казались еще тесней оттого, что заставлены были громоздкой и чересчур пышной мебелью. Стены гостиной, какие-то рыжеватые в крапинку, украшены были только двумя сентиментальными цветными литографиями, а с почетного места над камином, из овальной позолоченной рамы, с увеличенной, ярко раскрашенной фотографии серьезно, в упор смотрел на каждого входящего Небраскин сынишка, снятый в возрасте двух лет.

Жена Небраски Миртл была маленькая, кругленькая, с миловидным кукольным личиком. Его венком окружали круто завитые кудряшки цвета спелой кукурузы, пухлые щеки ярко нарумянены, пухлые губы намазаны. Но держалась и разговаривала она просто, безыскусственно и сразу пришлась Джорджу по душе. Она встретила его теплой, дружелюбной улыбкой и сказала, что муж ей много про него рассказывал.

Все уселись. Мальчуган, которому было уже года три-четыре, сперва застенчиво прятался за мамину юбку и только изредка из-за нее выглядывал, но потом осмелел, перебежал через комнату к отцу и стал карабкаться ему на колени и на плечи. Небраска и Миртл наперебой расспрашивали Джорджа, как он жил все эти годы, что делал, а больше всего – о поездке в Европу, о разных странах, где он побывал. Похоже, Европа казалась им неправдоподобно далекой, и всякого, кто повидал ее своими глазами, окружал некий ореол романтической необычности.

– Где ж ты там ездил? – спросил Небраска.

– Да почти повсюду, – сказал Джордж. – Был во Франции, в Англии, в Голландии, Дании, Швеции, Италии – все объездил.

– Вот, черт меня подери! – простодушно изумился Крейн. – Здорово ты всюду поспеваешь!

– Ну, не так, как ты, Брас. Ты-то всегда в разъездах.

– Кто, я? Черта с два. Я ж ничего нового не вижу, все одно и то же. Чикаго, Сент-Луис, Филадельфия – там я тысячу раз бывал, завяжи мне глаза, и то дорогу найду! – Он досадливо отмахнулся. И вдруг уставился на Джорджа, словно в первый раз увидел, наклонился и хлопнул его по коленке.

– Ах, черт меня подери совсем! Так как же ты живешь, Обезьян?

– Да не жалуясь. А ты-то как? Хотя чего спрашивать. Я про тебя все время читаю в газетах.

– Верно, Обезьян. Год у меня был неплохой. Но знаешь, брат... – Крейн вдруг покачал головой и усмехнулся. – Старость не радость.

Он чуть помолчал, потом продолжал негромко:

– Я в спорте уже семь лет, с девятьсот девятнадцатого, для нашей игры это не шутка. Редко кто протянет дольше. Когда столько времени гоняешь мяч, можно и со счета сбиться, только считать ни к чему, ноги сами подскажут – упрыгался, мол.

– Помилуй, Брас, ты-то еще молодцом! Стоило сегодня поглядеть, как ты лихо носился по полю – жеребенок, да и только!

– Угу, – пробурчал Небраска. – Поглядеть – так, может, и жеребенок, а только чувствую я себя вроде старой клячи в борозде. – Он опять умолк, потом смуглой рукой тихонько потрепал старого друга по коленке и сказал коротко: – Нет, брат. Когда покрутишься с мое, так уж знаешь, что тут к чему.

– Да будет тебе дурака валять! – заспорил Джордж, вспомнив, что Небраска старше его только двумя годами. – Тоже старик нашелся. Тебе ж всего двадцать семь!

– Да-да, ясно, – спокойно сказал Небраска. – Только я верно тебе говорю. В этом деле много дольше моего не продержишься. Понятно, Кобб, Спикер и еще кой-кто – эти играли подолгу, но таких по пальцам перечтешь.

Обыкновенно бейсболиста хватает на восемь лет, а я уж семь отыграл. Так что, коли меня хватит еще годика на три, жаловаться нечего... Черта с два! – прибавил он, чуть помолчав, и в голосе его вновь зазвучал былой задор. – Мне и так и сяк жаловаться нечего. Пускай хоть завтра дадут отставку, все равно, я знаю, я свое дело делал неплохо... Верно, жучишка? – весело и громко сказал он сыну, примостившемуся у него на коленях, подхватил его могучими руками и стал баюкать, как младенца. – Старина Брас свое дело делал неплохо, верно я говорю?

– Мы с Брасом оба так считаем, – вставила Миртл; во все время разговора она раскачивалась в качалке и безмятежно жевала резинку, – прошлый год раза два мы уж думали, Браса сплавят в команду поплоше. Помню, перед игрой он мне говорит: «Ну, говорит, старушка, чует мое сердце, коли я нынче не отобью мячей, двинемся мы с тобой в путь-дорогу». – «Куда, говорю, двинемся?» А он мне: «Я, говорит, не знаю, куда, а только пошлют они меня подальше, коли не будет мне удачи, уж чует мое сердце: нынче или никогда!»

А я гляжу на него, – все так же безмятежно продолжала Миртл, – и говорю:

«Так ты, говорю, чего от меня хочешь? Приходить мне нынче или не приходиться?» Он вообще-то, знаете, не любит, чтоб я там была, когда он мяча не отобьет, говорит, от этого ему и невезенье. А тут поглядел он на меня, вижу, вроде призадумался, а потом враз решился и говорит: «Коли хочешь, говорит, приходи, все равно, мол, мне уж так не везло, хуже некуда, а может, пора бы этому делу перемениться, так ты, мол, приходи». Ну, я и пошла, и уж не знаю, я ли ему счастье принесла или еще что, а только тут-то ему и повезло, – dokonчила она, мирно раскачиваясь в качалке.

– Ясно, это она, черт меня подери, – усмехнулся Брас. – В тот день я взял три из четырех, да какие! Два шли точно в цель.

– Ага, – подтвердила Миртл. – Да еще кто эти мячи бил – самый быстрый игрок в Филадельфии.

– Это уж точно! – сказал Небраска.

– Я-то знаю, – безмятежно жуя, продолжала Миртл. – Я слыхала, ребята из команды после говорили, он так подает, будто мяч летит с самого заду, с галерки, невесть откуда, его и не видно, мяча. А Брас все ж таки увидал, или ему просто повезло, два верных мяча отбил, и подающему это не больно понравилось. Когда Брас второй мяч отбил, так он, подающий-то, до того озлился – ногами затопал, землю роет, ну прямо бык бешеный. Прямо совсем сбесился, – по обыкновению, самым безмятежным тоном договорила Миртл.

– Я такого бешеного отродясь не видал! – в восторге подхватил Небраска.

– Я уж думал, он землю насквозь пробуравит, аж до самого Китая. Но это все равно. Миртл правду говорит. С того дня я и пошел в гору. Один парень мне после так и сказал: «Брас, говорит, мы уж все думали, тебя из команды вышибут, а теперь ты, стало быть, здорово укрепился». В этой игре всегда так. Я сам видал, Бэби Рут неделя за неделей ляпал все мимо да мимо, а потом вдруг пошел бить без промаха. И уж больше он вроде просто не мог промахнуться.

Четыре года прошло с тех пор. И вот двое друзей снова встретились, сидят рядом в несущемся поезде и торопятся узнать все новости друг о друге. Услышав, почему Джордж едет домой, Небраска так удивился, даже рот раскрыл, а потом нахмурился, и на смуглом простодушном лице его выразилось искреннее огорчение.

– Ну что тут скажешь, – вымолвил он. – Очень сочувствую, брат. – Он растерянно помолчал, не зная, что сказать. Потом тряхнул головой. – Ох, она и здорово же стряпала, твоя тетка. Век не забуду! Помнишь, как она когда-то нас кормила – всю малышню со всей округи? – Он застенчиво улыбнулся Джорджу. – Вот бы мне сейчас ее печенья, я бы не отказался!

Правая щиколотка у него была забинтована, меж колен он поставил толстую палку. Джордж спросил, что у него с ногой.

– Растянул сухожилие, – сказал Небраска, – пришлось дать себе передышку. Вот я и надумал навестить своих. Миртл не поехала, ей нельзя – мальчишку надо в школу снаряжать.

– Как они оба? – спросил Джордж.

– Они-то отлично, лучше некуда! – Небраска помолчал, улыбнулся (Джордж узнал в улыбке друга терпеливое мужество истинного чероки) и договорил: – А я разваливаюсь, Обезьян. Меня ненадолго хватит.

Джордж не поверил – Небраске теперь было всего тридцать один. Но тот опять добродушно улыбнулся.

– Для бейсбола это уже старость, Обезьян. Я начал в двадцать один. Я долго продержался.

От этой спокойной покорности Джорджа взяла тоска. Трудно и горько ему было видеть, что сильный, бесстрашный Небраска, который с детства был для него олицетворением храбрости и побед, теперь так безропотно мирится со своим поражением. И он заспорил:

– Что ты, Брас! Ты же в этом году бил так же метко, как прежде! Я читал про тебя в газетах, все так писали.

– Ну, я еще попадаю по мячу, – спокойно согласился Небраска. – Насчет меткости я не беспокоюсь. Это теряешь в последнюю очередь. По крайности, со мной так будет, да и другие ребята то же говорят. – И продолжал не сразу, понизив голос: – Вот если нога вовремя заживет, я еще вернусь и доиграю этот сезон. А если крепко повезет, может, меня не выставят из команды еще год-другой, потому как знают, что я бью метко. Да только они знают, что я человек конченный, – спокойно договорил он. – На мне уже поставили крест.

Джордж слушал и думал, что Небраска так и остался истинным индейцем. Он и мальчишкой был такой же неунывающий фаталист, в этом и крылся источник его огромной силы и мужества. Потому-то он никогда ничего и не боялся, даже смерти. А Небраска, видя, что Джордж огорчен, опять улыбнулся и сказал весело:

– Вот так-то, Обезьян. В спорте ты хорош, пока хорош. А потом тебя выгоняют. Я не жалею, черт подери. Мне повезло. Я варюсь в этой каше уже десять лет, это, знаешь, редкость. И я играл в трех встречах на первенство мира. А если продержусь еще годик-другой, если меня не выгонят и не выпихнут в команду послабее, может, мы опять станем на ноги. У нас с Миртл все рассчитано. Мне надо было малость помочь ее родным, и своим старикам я купил ферму, они всегда об этом мечтали. Да еще у меня у самого триста акров в Зибулоне, и за них уплачено сполна! Только бы мне в нынешний год продать табак по хорошей цене – и очистится у меня две тысячи долларов. Так что, ежели бы мне продержаться еще два года в Лиге и хорошо сыграть еще разок на первенство мира... – Небраска поглядел на друга, его открытое лицо, все в веснушках по смуглой коже, расплылось в прежней, совсем мальчишеской улыбке. – Тогда нам больше и мечтать не о чем.

– И... и ты будешь удовлетворен?

– Чего? Удовлетворен? – Небраска поглядел с недоумением. – Ты это про что?

– Да вот, Брас, ты столько сделал, столько повидал... Большие города, всюду толпы, все тебя приветствуют... и огромные заголовки в газетах, и первенство мира, и... и первое марта[1 - Открытие спортивного сезона.], и Сент-Питерсберг, опять встречаешь товарищей по команде, начинаются весенние тренировки...

Небраска тихонько взвыл.

– Ты чего?

– Тренировки...

– А ты что, не любишь их?

– Люблю? Да первые три недели – это мука адская! Пока ты мальчишка, еще ничего. За зиму много лишнего весу не наберешь, весной несколько дней разминки – и порядок. За две недели ты опять в форме, свеженький, как огурчик. А вот потяни с мое! – Он засмеялся, помотал головой. – Ой-ой! Сперва, коли мяч низкий, нагнуться нет мочи, суставы так и трещат. Помаленьку разминаешься, привыкаешь, мускулы уже не так ноют. Начинается сезон, в апреле ты вроде ничего, молодцом. В мае и вовсе разыграешься, кровь кипит –

думаешь, ты ни капельки не сдал. На июнь еще порошу хватает. А потом – июль, и в Сент-Луисе изволь играть по два матча в день. Ой-ой-ой! – Небраска покачал головой и засмеялся, показывая крупные крепкие зубы. – Обезьян, – сказал он негромко, лицо у него стало серьезное, сумрачное, лицо чистокровного индейца. – Бывал ты когда-нибудь в июле в Сент-Луисе?

– Нет.

– То-то, – тихо, презрительно продолжал Небраска. – И тебе в июле не приходилось гонять там мяч. Готовишь биты, а пот хлещет аж из ушей.

Шагнешь вперед, глядишь, кто тебе подает, а у тебя в глазах не то что двоится – четверится. На галерке народ жарится в одних рубашках, рукава у всех засучены, подает он тебе мяч, а ты и не видишь, откуда летит, вроде от всех этих, с трибуны. Ты охнуть не успел, а он уж тут. Ладно, знай стой покрепче и давай бей, может, и попадешь по нему. Только успевай поворачиваться, на две базы тебя хватит. В прежние времена мне это было раз плюнуть. А теперь... у-у. – Он опять медленно покачал головой. – Знаю я это ихнее бейсбольное поле в Сент-Луисе в июле месяце! К апрелю-то они позаботятся, всюду трава, что надо, а вот как начнется июль... – Он коротко засмеялся. – Черт подери! Под ногами чистый асфальт! Доберешься до первой базы, и уже ноги не идут, чтоб им пусто было, а надо двигаться дальше, менеджер с тебя глаз не спускает, он из тебя душу вынет, коли ты лишнюю базу не возьмешь, может, от нее вся игра зависит. И газетчики тоже на тебя пялятся, они уж начали поговаривать, мол, старик Крейн стал тяжел на подъем... а у тебя в голове контракт на будущий год, да, может, еще одно первенство мира, и ты только молишь Господа Бога, чтоб тебя не перекинули в сент-луисскую команду. Ну и вот, берешь ноги в руки, шмякнешься на вторую, пыхтишь, как паровоз, насилу встанешь, ощупаешь себя, цел ли, а тут еще наблюдающий на базе со своими шуточками: что, мол, за спех, старик? Боишься, мол, опоздать в Клуб ветеранов?

– Да, теперь я, кажется, начинаю понимать, – сказал Джордж.

– Понимаешь? Вот слушай! Нынче летом я раз спросил одного нашего, какой у нас месяц, он говорит, только еще середина июля, а я ему – черта лысого!

Какой там июль, вот провалиться, сентябрь на дворе! Стало быть, провались, отвечает, потому как сентябрем и не пахнет, а на дворе июль. Ну, говорю, видно,

нынче месяцы пошли по шестьдесят дней каждый, такого длинного июля у меня сроду не бывало. И ты уж мне поверь, так оно и есть. Когда в бейсболе состаришься, так, может, на дворе и правда июль, а для тебя все равно сентябрь. – Он помолчал. – Ну, вообще-то нашего брата держат в команде, покуда меткость не изменила. Раз ты еще попадаешь по мячу, так валяй выходи на поле, хоть тебя надо склеивать по кусочкам, чтоб не рассыпался. Так что, коли повезет, я еще годик-другой поиграю. Я еще маху не даю, так, может, меня и станут выпускать, покуда все прочие не начнут ворчать, что старик Брас не поспевает за низовым мячом! – Он засмеялся. – Нет, покуда я еще ничего, а уж как стану сдавать – баста.

– Ну, значит, ты не пожалеешь, что надо будет уйти?

Небраска ответил не сразу. Он смотрел на проносящийся за окном вагона закопченный фабричным дымом штат Нью-Джерси. Потом опять засмеялся, но устало, невесело.

– Дружище, для тебя, может, это целое путешествие, а я, знаешь, столько раз катал этим поездом взад-вперед... всю дорогу назубок выучил, хоть не глядя скажу, мимо которого по счету телеграфного столба проезжаем. Да-да, черт подери! – Он громко, заразительно захохотал. – Когда-то я их пересчитал, а теперь вот возьму и окрещу каждый по имени!

– И не скучно тебе будет безвылазно торчать на ферме в Зибулоне?

– Скучно? – Голос Небраски зазвучал презрительно и негодуя, совсем как когда-то, в мальчишеские годы; долгую минуту он смотрел на приятеля с недоумением и чуть ли не брезгливо. – Да ты что? Это ж самая распрекрасная жизнь на свете!

– А как твой отец, Брас?

Бейсболист ухмыльнулся и покачал головой:

– Старик живет в свое удовольствие. Он весь век только и мечтал в земле копать.

- Со здоровьем у него как?

- Дай бог всякому! - гордо сказал Небраска. - Здоров как бык. Хоть сейчас медведя одолеет. Вот провалиться мне! - продолжал он с глубочайшим убеждением. - Выйдут на него двое парней - он и с двоими запросто справится.

- А помнишь, Брас, когда мы были малявками, а твой отец служил в полиции, он выходил против всех борцов, кто приезжал к нам в город. И ведь, бывало, приезжали и классные борцы!

- Еще какие! - оживленно закивал Небраска. - Том Андерсон, он ведь был чемпион Атланты, и еще Петерсон, - помнишь Петерсона?

- Ясно, помню. Его прозвали Швед Костолом... Он сколько раз к нам приезжал.

- Ага, он самый. Он по всей стране разъезжал... Знатный был борец, из самых что ни на есть лучших. Мой старик три раза с ним дрался и раз даже уложил на обе лопатки!

- Был еще тот верзила, по прозвищу Турок Душитель...

- Ага, тоже классный был борец! Хотя он был не турок, только выдавал себя за турка. Мой старик говорил, он был то ли поляк, то ли еще откуда-то из тех мест, а работал на сталелитейном заводе в Пенсильвании, потому и стал таким силачом.

- И еще Великан Джерси...

- Ага...

- И Ураган Финнеген...

- Ага...

- И Дакотский Бык... и Джим Райан из Техаса... и Чудо-в-маске... Помнишь Чудо-в-маске?

– Ага... только их была целая куча... раскатывали по стране вдоль и поперек, и всяк называл себя «Чудо-в-маске». Мой старик дрался с такими с двумя. Только настоящий-то Чудо-в-маске к нам не приезжал. Мой старик говорил, был и настоящий Чудо-в-маске, только он, верно, был первейший борец, самый классный, такой в Либия-хилл не поедет.

– Брас, а помнишь, раз вечером твой отец боролся в городском спортзале с одним таким «Чудом-в-маске», а мы с тобой сидели в первом ряду и болели за него, и он обхватил того за шею, маска слетела, и это оказался никакой не Чудо-в-маске, а просто грек, который по вечерам прислуживал в кафе «Жемчужина» у вокзала?

– А-а... да, да! – Небраска закинул голову и расхохотался. – Я совсем было забыл того грека, а ведь верно, он самый! Тогда все орали: мол, жульство, деньги обратно!.. Ей-богу, Обезьян, до чего ж я рад тебя видеть! – Большой смуглой рукой он накрыл колено Джорджа. – Будто и не прошло столько лет, верно? Будто вчера все это было!

– Да, Брас... – Минуту-другую Джордж смотрел за окно, где мелькали знакомые места, в груди его росли печаль и недоумение. – Будто вчера все это было.

Джордж сидел у окна и смотрел, как проносятся мимо изнывающие от жара просторы. Не в меру жаркий выдался этот сентябрь, дождя не было недели три, и весь день очертания восточного побережья затягивала безрадостная пелена зноя. Земля потрескалась и иссохла в пыль, и под раскаленным, остекленелым небом отсвечивали жестяным блеском вдоль рельс сухие порыжелые травы и чахлые сорняки. Весь материк словно задышался. Сквозь проволочные сетки на окнах пробивалась в жаркое зеленое нутро поезда мельчайшая угольная крошка, а во время остановок с двух концов вагона однообразно жужжали вентиляторы, и казалось, это голос самого зноя. Покуда поезд стоял, на соседних путях, пыхтя, медленно проходили огромные паровозы, или тоже стояли, отдуваясь, ленивые, точно огромные кошки, и машинисты почернелой ветошью утирали закопченные лица, а пассажиры бессильно обмахивались смятыми газетами или сидели в унылом изнеможении, обливаясь потом.

Джордж долго сидел в одиночестве. Глаза его подмечали каждую мелочь в картинах, сменявшихся за окном, но мыслями он замкнулся в себе, в давних

воспоминаниях, которые вновь ожили от встречи с Небраской. А поезд уже пересек Нью-Джерси, Пенсильванию, краешек Делавэра и теперь мчался по Мериленду. И самая панорама страны за окном разворачивалась подобно свитку времени. Джордж вдруг почувствовал себя потерянным, почти несчастным.

Разговор с другом детства внезапно вернул его в прошлое. Небраска так изменился за эти годы, так покорно мирился с тем, что потерпел крах, и от этого за смутными недобрыми предчувствиями, которые пробудил в Джордже разговор с банкиром, политиком и мэром, всколыхнулась еще и глухая печаль.

В Балтиморе, когда поезд уже замедлил ход под сумрачными сводами вокзала, за окном на платформе мелькнуло и проплыло мимо знакомое лицо.

Джордж только и успел заметить неясные черты, худобу, бледность и запавший рот, но в углах рта ему почудилась тень улыбки – едва уловимой, призрачной, зловещей, – и его охватил внезапный, нерассуждающий страх.

Неужели это Судья Рамфорд Бленд?

Поезд снова тронулся, нырнул в туннель на дальней окраине города, и тут в конце вагона появился слепой. Люди толковали друг с другом, читали или дремали, а слепой вошел совсем тихо, и никто его не заметил. Он сел на первую же скамью у двери. Когда поезд опять вынырнул под предвечернее сентябрьское солнце, Джордж оглянулся и увидел нового пассажира. Тот сидел совсем тихо, сжимая высохшей рукой тяжелую ореховую трость, незрячие глаза уставились в пустоту, худое увядшее лицо все обращено в слух – закаменело в страшной, напряженной неподвижности, какая бывает только у слепых, и лишь в углах губ сквозит еле заметный намек на улыбку, и в ней, почти неразличимой, какая-то пугающая живость, неуловимое и опасное обаяние падшего ангела. Да, это и вправду Судья Рамфорд Бленд!

Джордж не видел его пятнадцать лет. В ту пору Бленд еще не ослеп, но глаза уже начинали ему изменять. Джордж хорошо помнил его – и помнил, каким безмерным ужасом леденил мальчишескую душу один вид Судьи, который нередко бродил ночами по пустым, безлюдным улицам, когда все уже спали и город был как могила. Даже в те дни, когда его еще не поразила слепота, какая-то темная жажда гнала этого человека на пустынные мостовые, под равнодушный мертвенный свет фонарей на перекрестках, мимо неизменно

темных окон и вечно запертых дверей.

Он происходил из старой почтенной семьи, и, как всех мужчин в роду за последние сто лет с лишком, его определили по юридической части. Один срок он занимал пост в полицейском суде, и с тех пор его так и звали – Судья Бленд.

Но этот потомок достойного семейства запятнал честь семьи неслыханным падением. В пору, когда Джордж Уэббер был мальчишкой, Бленд еще называл себя юристом. У него была захудалая контора в собственном ветхом доме, и на дверной табличке он значился адвокатом, но свой хлеб зарабатывал иными, более сомнительными способами. Знания и опыт служили этому искусному крючкотвору главным образом для того, чтобы обойти закон и помешать правосудию. В сущности, «практиковал» он только среди негритянского населения, и «практика» эта заключалась прежде всего в ростовщичестве.

В принадлежавшем Бленду доме на Главной площади – обветшалом двухэтажном строении из рыжего кирпича – помещалась «торговля подержанной мебелью». Под этот «магазин» отведены были подвал и нижний этаж. Но, конечно, это была просто ширма, которой Бленд прикрывал свои незаконные сделки с неграми. Вздумай кто-нибудь осмотреть наваленные здесь груды устрашающего зловонного хлама, он тотчас убедился бы, что на выручку с такого товара и месяца не проживешь. Никто бы не поверил, что этим можно прокормиться. За немытой витриной виднелся бильярдный стол, должно быть, взятый в уплату за долги из какого-то негритянского игорного дома. Но что это был за стол! Другой такой ископаемой древности наверняка не нашлось бы во всей стране. Весь горбатый, в буграх и выбоинах. Не осталось не одной целой лузы – дыры в них такие, что бейсбольный мяч и то провалился бы.

Зеленое сукно где протерто до дыр, где отстало и задралось. По краям и сукно и дерево – в черных и рыжих метинах от бесчисленных сигарет. И, однако, несомненно, эта развалина – самое роскошное украшение всей лавки.

Всматриваясь в мрачную глубь этой пещеры, можно было увидеть невероятнейшее, несомненно единственное в своем роде, собрание самого разнообразного негритянского хлама. И в первом этаже, и в подвале хлам этот громоздился до потолка, вперемешку, словно его изверг из пасти какой-то гигантский паровой экскаватор. Тут были ломаные кресла-качалки, комоды с потрескавшимися зеркалами и ящиками без дна, столы, у которых не хватало ножки, а то и двух и даже трех, ржавые железные печки с прогоревшими

решетками и черными от сажи коленчатыми трубами, закопченные, обросшие многолетним слоем жира сковородки, утюги, щербатые тарелки, миски и кувшины, тазы, ночные горшки и еще несчетное множество всякого барахла, истрепанного, ломаного, битого.

Так для чего же нужна была Судье Рамфорду Бленду эта лавка, полная такого никчемного хлама, что он не пригодился бы и последнему чернокожему бедняку? А очень просто.

Когда негр попадал в беду, когда спешно, позарез нужны были деньги – приговорил ли суд к штрафу, надо ли уплатить доктору или вернуть неотложный долг, – он шел к Бленду. Порой нужда была всего-то в пяти или десяти долларах, изредка, случалось, и в полсотне, но обычно меньше. Судья Бленд требовал залог. Негру, понятно, оставить в залог было нечего, разве только немногие свои пожитки да что-нибудь из убогой мебели – кровать, стул, печку. Судья Бленд отряжал своего сборщика, верного пса и помощника – проныру с мордой хорька по имени Клайд Билз – осмотреть это жалкое имущество; если оно оказывалось для владельца достаточной ценностью, которую тот постарается выкупить, значит, стоило дать ссуду, и Рамфорд Бленд давал ее, сразу же удерживая, впрочем, первые проценты.

А дальше игра оборачивалась прямым, гнуснейшим ростовщичеством.

Проценты выплачивались раз в неделю, каждую субботу вечером. С десяти долларов Судья Бленд взыскивал пятьдесят центов в неделю, с двадцати долларов – доллар, и так далее. Вот почему размер ссуды почти никогда не превышал пяти-десяти долларов. В редкой негритянской хижине набралось бы имущества на полсотни долларов, и притом платить два с половиной доллара процентов неграм было не под силу: мужчины зарабатывали никак не больше пяти-шести долларов в неделю, женщины – кухарки и прочая прислуга белых горожан – каких-нибудь три-четыре доллара. Приходилось оставлять им хоть какие-то гроши на пропитание, иначе сорвалась бы вся игра. Смысл и хитроумие этой игры заключались в том, чтобы дать негру займы чуть больше, чем он получает в неделю и, значит, может вернуть, но не слишком много, чтобы он был в состоянии из своего скудного дохода выкраивать еженедельные проценты.

В книгах Судьи Бленда значились имена негров, которые, получив займы десять или двадцать долларов, платили ему потом еженедельные полдоллара или доллар долгие годы. Почти все они, невежественные бедняки, не в

состоянии были понять, что же с ними случилось. Сызмальства всей своей жизнью приученные к рабской покорности, они лишь тупо, уныло ощущали, что когда-то в далеком прошлом были у них деньги, а они их растранижили и за этот краткий веселый час должны теперь расплачиваться вечно. Придут эти горемыки в субботний вечер в грязное, убогое, скудно освещенное логово – и сам Судья в черном костюме и белой рубашке, под тусклой, голой, засиженной мухами лампочкой, вершит над ними свой единоличный суд:

– В чем дело, Кэрри? Ты просрочила целых две недели. Разве за эту неделю ты заработала только пятьдесят центов?

– Да я думала, вроде еще только третья неделя идет. Может, сбилась со счета.

– Ничего ты не сбилась. Уже три недели. С тебя доллар пятьдесят. А ты что, принесла только полдоллара?

Угрюмый, виноватый ответ:

– Да, сэр.

– А остальное когда будет?

– Там один человек, он сказал, он мне даст...

– Это ты мне не рассказывай. Будешь ты дальше вовремя платить или нет?

– Да я ж говорю. Как придет понедельник, тот человек, он враз...

– Ты у кого сейчас работаешь?

– У доктора Холлендера...

– Кухаркой?

Угрюмо, с безмерным, истинно негритянским унынием:

– Да, сэр.

– Сколько получаешь?

– Три доллара.

– Так чего ты запаздываешь? Не можешь внести пятьдесят центов в неделю?

Все так же угрюмо, мрачно и уныло, из глубин сомнения и растерянности, точно из недр африканских джунглей:

– Да я не знаю... Вроде я уж сколько времени все плачу да плачу...

Резко, леденяще, как яд, стремительно, как нападающая змея:

– Ничего ты не платишь. И не начинала платить. Только проценты вносишь, да и те не в срок.

Все так же в сомнении, в глубокой растерянности неловкие пальцы нашаривают, перебирают, наконец извлекают из потрепанного кошелька пачку засаленных бумажонок.

– Уж и не знаю, вроде у меня их вон сколько, расписок, верно, я те десять долларов уж давно выплатила. Сколько ж это мне времени еще платить?

– Пока не принесешь десять долларов... Ладно. Кэрри, вот тебе расписка. На той неделе принесешь еще доллар сверх обычного.

Другие, поумней, чем такая Кэрри, лучше понимали, как попались, но продолжали платить, потому что им не под силу было собрать нужную сумму и разом избавиться от кабалы. У иных хватало запала и самообладания откладывать каждый грош, пока не удастся вернуть себе свободу. Были и такие, что платили неделями, месяцами, а потом, отчаявшись, переставали платить. И тогда, уж конечно, на них коршуном набрасывался Клайд Билз.

Приставал, уговаривал, грозил; и если убеждался, что денег тут больше не выжмешь, забирал у должников мебель и прочие пожитки. Вот откуда в лавке

вырастали беспорядочные груды дурно пахнущего хлама.

Могут спросить – как же закон не покарал Судью Рамфорда за такое откровенное, бесстыдное, гнусное ростовщичество? Неужели полиция не ведала, из каких источников и какими способами черпает он свои доходы?

Еще как ведала. Лавка, где он занимался своим подлым ремеслом, находилась в каких-нибудь тридцати шагах от муниципалитета и в двадцати – от бокового тюремного крыльца, по каменным ступеням которого не раз и не два таскали, толкали и волокли тех же самых негров, чтобы швырнуть в каталажку. Занятие Судьи, хоть и не законное, было самым обычным делом, местные власти смотрели на него сквозь пальцы, да немало есть еще и других столь же преступных способов, которыми пользуются не знающие ни стыда, ни совести белые во всех южных штатах, набивая мошну за счет притесняемых и невежественных людей. Ростовщики наживаются главным образом на «черномазах», потому-то блюстители закона и оказываются столь мягки и снисходительны.

А кроме того, Судья Рамфорд Бленд знал, те, с кем он имеет дело, на него не донесут. Он знал, негры не разбираются в том, что такое закон, и либо трепещут перед его непостижимой таинственностью, либо дрожат перед его грозной и разящей силой. Для негра закон – это прежде всего полиция, иными словами, белый человек в мундире, и у этого человека есть сила и власть: он может арестовать черного, избить кулаками или дубинкой, застрелить из пистолета, запереть в тесную темную камеру. А потому едва ли найдется негр, который пойдет жаловаться на свои несчастья в полицию. Он даже не подозревает, что и у него, как у гражданина, есть какие-то права, а Судья Рамфорд Бленд эти права попирает; если же кто из негров и имеет хотя бы смутное представление о своих правах, едва ли он станет просить защиты у тех, от кого ему только и перепало что побои, аресты да тюрьма.

На втором этаже, над свалкой негритянского барахла, помещается контора Судьи Бленда. Деревянная лестница, чьи ступени истерты шагами босоногого времени, а перила, шаткие, как зуб старика, отполированы и пропитаны потом множества черных ладоней, ведет наверх, в темный коридор. Тут, в кромешной тьме, слышится одинокий мерный стук капель, редко и однообразно падающих из крана где-то в глубине, и вошедшего обдает едким запахом уборной. По правую руку – матовая стеклянная дверь конторы, и на ней наполовину облезшая надпись черной краской:

РАМФОРД БЛЕНД. АДВОКАТ.

Приемная, как все адвокатские приемные, обставлена громоздкой и неудобной мебелью. Голый, без ковра, пол, два почерневших от старости шведских бюро, два застекленных книжных шкафа, набитых потрепанными томами в бурых, свиной кожи переплетах, огромная медная плевательница, полная до краев табачной жвачки, два-три дряхлых вращающихся табурета и еще несколько скрипучих стульев для посетителей. На стенах выцветшие дипломы, свидетельствующие, что хозяин окончил Пайн-Рок-колледж со степенью бакалавра искусств, университет в Старой Кэтоубе со степенью доктора прав и состоит членом Старо-Кэтоубской коллегии адвокатов. За этой комнатой – еще одна, там только и есть что еще шкафы, полные тяжелых томов в заплесневелых переплетах телячьей кожи, несколько стульев и у стены обитый плюшем диван, – по слухам, в эту комнату Бленд «водил женщин». Два окна выходят на Главную площадь, невымытые стекла засажены мухами, передохшими еще во времена Геттисберга, над окнами – обтрепанные, порыжелые шторы – современницы президента Гарфилда, на которых еще можно различить достойные имена «Кеннеди и Бленд». Одним из совладельцев этой старинной адвокатской конторы был отец мэра Бакстера Кеннеди, а его партнер, генерал Бленд, был отец Рамфорда. Оба давным-давно умерли, но никто и не подумал сменить надпись.

Таким осталось в памяти Джорджа Уэббера логово Судьи Рамфорда Бленда. И сам Судья Рамфорд Бленд – «поручитель», торговец мебелью, – ростовщик, ссужающий деньгами черных. Судья Рамфорд Бленд – сын генерала армии южан, адвокат, в черной шелковистой мантии, в белоснежной манишке.

Что случилось с этим человеком, что так круто перевернуло его жизнь и заставило сменить верный и достойный путь на кривые, подлые дорожки? Этого не знал никто. Бесспорно, человек он был очень одаренный. В детстве Джордж слышал, как виднейшие юристы в городе признавались, что мало кто из них мог бы тягаться с Блендом в знании законов и ораторском искусстве, если бы «судья» пожелал применить свои таланты на честном поприще.

Но на нем лежала печать порока. Какое-то извращенное, извечно злое начало таилось в самой его натуре, в недрах его души. Оно впиталось в его плоть и кровь. Оно ощущалось в пожатии его худой, слабой руки, когда он с вами

здоровался, слышалось в голосе, словно проникнутом смертельной усталостью, сквозило в чертах исхудалого мертвенно-бледного лица, в прямых, тусклых каштановых волосах, а главное, в запавших губах, на которых постоянно дрожала едва уловимая тень улыбки. Да, только тень улыбки, иначе не скажешь, ибо на самом деле то была вовсе не улыбка. Она таилась, точно призрак, в уголках губ. Присмотришься – ее уже нет. И все равно знаешь, она всегда здесь – непристойная, злая, издевательская, противоестественно гнусная, она чем-то сродни юмору висельника, намек на бьющую ключом в тайниках этой темной души неиссякаемую живучесть.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Открытие спортивного сезона.

Купить: https://telnovel.me/vulf_tomas/domoy-vozvrata-net

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)